

СИМ ОБЯЗАНЫ В. СКОТТУ?

А. А. ИЛЮШИН,
доктор филологических наук

Племянник — с заманчивыми видами на будущее — издаেকে приехал к дяде. Ситуация кажется вполне заурядной: чтобы описать её, едва ли необходима оглядка на писателя-предшественника, повествовавшего приблизительно о том же. Каждый и сам знает, без посторонних подсказок, что такое родственники, в том числе дядья и племянники, и что вторые иногда гостят у первых. Это знание скорее житейское, чем книжное. Между тем, вопреки высказанному замечанию, данная ситуация насквозь олитературена, срослась с определённой книжной традицией, а в русском своём варианте ещё и англоязычена, как если бы наш соотечественник учился ездить к дяде по заморскому образцу. Вот хотя бы пять произведений, наметивших и закрепивших эту англо-русскую сюжетную традицию:

1. Исторический роман В. Скотта «Роб Рой» (1818): юный Фрэнк, покинув отчий дом, приезжает к дядюшке, и это неотвратно предопределяет всю дальнейшую судьбу героя.

2. Готический роман Ч. Р. Мэтьюрина «Мельмот-Скиталец» (1820): к умирающему старику приезжает племянник — потомок таинственного и демонического Мельмота; наследник.

3. Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава первая — 1823, опублик. 1825): к умирающему дяде спешит молодой повеса, петербургский dandy, готовый ухаживать за стариком и надеющийся вскоре получить наследство.

4. Поэма А. И. Полежаева «Сашка» (1825—1826): московский студент, оказавшийся в бедственном положении, вынужден отправиться в Петербург к богатому дяде.

5. Роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1844—1846): из деревни в Петербург к преуспевающему деловому человеку приехал наивный племянник, юноша-романтик; в столице делает себе «фортуны и карьеру».

Онегин, «летя в пыли на почтовых», мысленно идентифицирует себя с Мельмотом: оказался в сходном положении. Кстати, Пушкин и в конце романа проведёт ещё более откровенную аналогию между своим героем и мэтьюриновским: «Чем ныне явится? Мельмотом <...>?» А пока, в начале первой главы, Евгений

недоволен тем, что ему придётся лицемерить, поправляя подушки и поднося лекарство полуживому,

Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя?

В этих словах таится двусмысленность. Читатель может думать, что имеется в виду следующее: «когда же чёрт возьмёт моего дядю», то есть «когда же он наконец умрёт и я получу наследство?» Но возможен и другой смысл. У Мэтьюрина чёрт забрал Мельмота, а не дядю, и, согласно этому, стилизующий себя под Мельмота Онегин мысленно обращается на «ты» тоже не к своему дяде, а к самому себе: «Когда же чёрт возьмёт тебя, друг мой Евгений?» Простодушный немощный старик — что за добыча для дьявола? Иное дело Мельмот-Онегин...

Любопытно, что мотивы «Мельмота» сопровождают не только Онегина, но и, что совсем уж неожиданно, другого пушкинского Евгения — из «Медного Всадника». Герою поэмы «грустно было» у себя дома ночью перед наводнением, «и он желал»,

Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

То же самое — с Джоном Мельмотом ночью в доме дяди: непогода за окном (хоть бы поутихла!) и тревожно-тоскливое чувство в душе. Этот мотив явственно отозвался в пушкинской поэме.

Разумеется, реминисценции из «Мельмота» в «Онегине» еще более явственны и яснее мотивированы. Но вот вопрос: «сквозь» Мэтьюрина виден ли Пушкину Скотт — в намеченном ряду своего рода основоположник сюжета «племянник у дяди»? Слышимых отзвуков непосредственно из «Роб Роя» в «Онегине» как будто нет. Зато они имеются в «Дубровском»: робкий и подлый Антон Пафнутыч, доверившийся мнимому Дефоржу, попадает в положение скоттовского Морриса. «Капитанская дочка» и подавно «совпадает» с «Роб Роем», подчас даже в мелочах: герой-рассказчик влюблён в девушку, дуэлирует с коварным соперником, одолел было его, но — внезапная игра случая — сам получил удар шпагой в грудь; в судьбе героев значительна роль яркого лидера народно-освободительного движения; развязка — соперник побеждён, влюбленные соединились. Все это есть в романах и Скотта и Пушкина (Гринёв — Фрэнк, Маша — Диана, Швабрин — Рэшли, Савельич — Оуэн, Пугачёв — Роб Рой).

Но вернёмся к дядьям и племянникам. Читатели, приступая к первой главе «Онегина» — «Мой дядя самых честных правил...», могли усмехнуться: уж не о Василии ли Львовиче идёт речь?

Автор, вероятно, чувствовал это и счёл нужным отвести от В. Л. Пушкина подобные подозрения. В первой же главе подчёркивается «разность между Онегиным и мной»: герой и автор — разные люди, и дядья у них, стало быть, разные. А в дальнейшем ходе повествования Пушкин намекнул и на своего собственного (и никак уж не онегинского) дядю: «Мой брат двоюродный Буянов...» Буянов — детище В. Л. Пушкина (герой его шутильной поэмы «Опасный сосед») и потому «кузен» Александра Пушкина, логика тут прозрачная.

В полежаевском «Сашке» удивительно сочетается автобиографизм в обрисовке персонажей и обстоятельств (в отличие от «Онегина»), с пародийной нацеленностью поэмы (на того же «Онегина»). Уже первый стих: «Мой дядя — человек сердитый» — прямо отсылает к первому стиху пушкинского романа, и далее даёт о себе знать обилие подобных иронических реминисценций. Во второй части поэмы Сашка стилизуется под Онегина, превратясь из грязного и пьяного гуляки-студента, завсегдагая борделей и трактиров, в модного разочарованного и скучающего франта. «Фамилья» Сашки — Полежаев, сам родом из-под Саранска, учится в Московском университете — куда уж откровеннее, всё как у самого автора. Автобиографично и то, что у Сашки в Петербурге живёт дядя, реальным прототипом которого является А. Н. Струйский. К нему и едет наскандаливший в Москве племянник. Не в пример В. Л. Пушкину, сохранившему добрые отношения со своим племянником, А. Н. Струйский имел основание обидеться на Полежаева, который иронически изобразил в поэме своего дядю (вероятно, именно поэтому и просил у него прощения в одном из более поздних стихотворений).

Среди прочих онегинских аллюзий в «Сашке» есть одна, на которую стоило бы обратить особое внимание. По дороге в Питер Сашка приуныл, представив себе, как ему придётся заискивать перед членами дядиной семьи, юлить и гримасничать,

Бормоча: «Чёрт вас поберил!»

Выше отмечалась двусмысленность онегинского «когда же чёрт возьмёт тебя?» (то есть Онегина или его дядю?). Так вот, в похожих сашкиных словах подобной двусмысленности нет. Ясно, что чёрт призван «побрать» не Сашку, а дядину семью, поскольку с Мельмотом он себя отнюдь не ассоциирует. Полежаеву-насмешнику, отправившему племянника к дяде, вовсе не нужны в качестве литературных образцов ни Мэтьюрин, ни Скотт. Единственное, что ему в данном случае нужно, — это первая глава «Онегина», причём безотносительно к тому, насколько

значителен в этой главе английский культурный слой (включая и литературную традицию).

Через два десятилетия после этого в нашу литературу пришел Гончаров с «Обыкновенной историей». Снова племянник едет к дяде. Не найдём, да и не будем искать здесь следов воздействия со стороны ни Полежаева, ни Пушкина, ни Мэтьюрина, зато рискнём настаивать: *сим обязаны Скотту!* В авторе «Обыкновенной истории» угадывается внимательный читатель «Роб Роя», под обаянием этой книги он, видимо, находился и в период работы над первым своим романом. Особенно ярко это отразилось в эпизоде, когда Пётр Адуев читает и критикует стихи своего племянника Александра. Текст стихов дан вперемежку с перебивающими их нелестными замечаниями дяди. Последний осуждает стилистические и логические несообразности и неловкости, вымученные длинноты, поэтические штампы. Разительно похожий эпизод есть в «Роб Рое»: Осбальтистон-старший читает стихи Фрэнка, сопровождая почти каждую строфу язвительной критикой такого же характера: плохо рифмовать Гаронну с солнцем (*Garonne — sun*), нелепа метафора «туча огня» (*A cloud of flame*) и т. п. Достаточно сопоставить, прочитать «параллельно» соответствующие страницы из «Роб Роя» и «Обыкновенной истории», чтобы убедиться: Гончаров здесь находится под явным влиянием английского писателя.

Уместно в этой связи вспомнить, что пушкинский Гринёв, тоже втянутый в орбиту скоттовского влияния, и тут в свою очередь не отстал от Фрэнка: сочинил песенку, также ставшую объектом «немилосердной» критики — со стороны Швабрина. Вот уже два русских персонажа (Гринёв и Адуев-младший), пишущих, подобно Фрэнку, беспомощные и подвергаемые «разносу» стишки. Закономерно? Кстати, и такой ещё дядюшкин племянник, как полежаевский Сашка,— тот тоже, подучившись слегка, «рифмы стал кропать».

Конечно, далеко не всякое наличие в том или ином произведении ситуативного момента «дядя — племянник» даёт повод включить такое произведение в намеченный здесь ряд. В романе «Три страны света» (1848), написанном Н. А. Некрасовым совместно с А. Я. Панаевой, есть эпизод, когда главный герой Каютин приезжает к своему дядюшке Ласукову в деревню. Племянник подумывает о возможном наследстве, сживает ночью «у одра умирающего дяденьки, который, впрочем, и не думал умирать», — разве не напоминает эта ситуация онегинскую? Ведь соответствия или совпадения налицо. Но отнюдь не исключено, что они носят случайный характер. Или другой пример — «Отцы и дети» И. С. Тургенева (1862). Там Аркадий Кирсанов приезжает

в дом, где живёт его дядя Павел Петрович, аристократ, англичанин-стывующий (!) джентльмен. Но и здесь предполагается непричастность данного сюжета к рассмотренной англо-русской традиции — хотя бы потому, что примешиваются «лишние»: Аркадий приехал не один, а с другом; и не столько к дяде, сколько к отцу, живущему вместе с Павлом Петровичем. Так что лучше нам ограничиться уже показанным материалом, имеющим непосредственное и бесспорное отношение к освещаемой теме.

Принято полагать, что Скотту европейские литературы, русская в их числе, обязаны премногими достижениями в области исторической романистики. Пожалуй, это неоспоримо. Воздействие его огромно. И у нас в XIX веке было немало своих, русских «маленьких Вальтер-Скоттов», писавших исторические повести и романы. Из них крупнее прочих — М. Н. Загоскин и И. И. Лажечников. (Заметно также влияние Скотта в поэзии, главным образом в жанре баллады.) Однако то, о чём шла речь, — иного свойства. К историческим жанрам это не имеет отношения, если не считать упоминавшейся «Капитанской дочки». Перечисленные же племянники с их дядюшками — все как один современники своих творцов. Получается, что у Скотта было чему поучиться не только писателям-«историкам», но и откликавшимся на злобу дня. Это примечательно и кое в чём неожиданно. Самое же удивительное — отзвук «Роб Роя» в «Обыкновенной истории». Ранний Гончаров работал в атмосфере «натуральной школы» и был в гуще её интересов и проблем, для которых творчество Скотта не имело, кажется, живого значения. Но для кого как! Гончарову он, судя по всему, оставался дорог и близок. Пристальное внимание к сиюминутному не заслонило ценностей, созданных литературой «устаревшего» романтизма. Тем более, что сам Гончаров умел сочинять «недурные» романтические стихи, великодушно приписанные Александру Адуеву (как скоттовские — Фрэнку):

Гляжу на небо: там луна
Безмолвно плавает, сияя,
И мнится, в ней погребена
От века тайна роковая.

«Нам надо учиться писать хорошо...»

Рассказы Л. Н. Толстого для детей

*Л. П. КОРЧАГИНА,
кандидат филологических наук*

Известно, как кропотливо работал Л. Н. Толстой над текстами своих произведений, которые он «марал и переделывал по 20 раз». Эта цитата взята из письма 1872 года, поры «Азбуки», но высочайшая требовательность к слову свойственна была Толстому всегда. «Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» — этот гоголевский завет писатель любил повторять всю жизнь.

Только к художественным текстам «Азбуки», «Новой азбуки» и «Четырёх русских книг для чтения» сохранилось больше 600 листов рукописей (включая корректуры). Может быть, самое интересное и важное в них — работа над языком, «ужасная», по словам самого Толстого: «надо, чтоб всё было красиво, коротко, просто и, главное, ясно» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 61. С. 283; далее — только том и стр.). Надо сказать, что никогда, ни до, ни после, Толстой не говорил так много о языке художественного произведения, как во время создания коротких и совсем крохотных рассказов для детей.

Напомним эти высказывания:

«Если будет какое-нибудь достоинство в статьях „Азбуки“, то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка...» (61, 274).

«... Не ложные ли приёмы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем, и я писал... Песни, сказки, былины — всё простое будут читать, пока будет русский язык». Толстой назвал народный язык «лучшим поэтическим регулятором»: «Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — всё похоже на литературу» (61, 277—278).

В другой раз, когда баронесса Е. И. Менгден обратилась за советом (её приятельница собиралась организовать в Петербурге журнал «Русский рабочий»), Толстой ответил: «Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам: пишите, что хотите, проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру,

протестантизм, что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры из типографии» (62, 143—144).

А каким образом сам писатель, лелеявший «гордые мечты» о том, что по его рассказам будут учиться грамоте все дети, «от царских до мужицких», шлифовал язык своих произведений? О многом могут поведать рукописи. К сожалению, в 90-томном издании были опубликованы далеко не все черновые автографы детских рассказов, а некоторые из них (не включенные Толстым в азбуку) не опубликованы до сих пор. В статье анализируются только три произведения, но об истории создания книг для детей можно написать большое исследование.

В «Новую азбуку» включен маленький рассказ:

«Ела мать борщ и клала в борщ соль. А Митя был глуп, когда мать ушла, стал одну соль есть» (21, 39).

В обыкновенном эпизоде обыкновенной жизни (как правило, в детстве многие делают попытку съесть ложку соли) — до боли близкая, родная, теплая атмосфера отчего дома.

Первая редакция этой жанровой картинки, по сравнению с основным текстом, имеет большую детальную разработку.

«Дед ел борщ и клал в него соль. „Видно, соль вкусна. Дай я“. Миша, глядя на деда, тоже взял соль, весь рот его был полон соли. Была у Миши во рту боль. Одну соль, брат, в рот брать не надо» (Отдел рук. ГМТ, инв. № 89/13, оп. 13, л. 1).

В новой редакции этой истории за столом сидят мать и дочь: «Ела мать щи и клала в щи соль. А дочка глупа, когда мать ушла, стала одну соль есть. „Нет, соль не вкусна, не стану“» (Там же).

Опубликованный Толстым текст не просто короче, чище по языку. Благодаря краткости и чистоте он стал психологически и по реалиям более точным: исчезли внутренняя речь маленького мальчика (девочки), немислимая в этом возрасте, и авторская сентенция первого варианта («Одну соль, брат, в рот брать не надо»); ребёнок должен был остаться один, чтобы беспрепятственно лакомиться солью; щи из кислой капусты подсаливать на столе не приходится, и первоначальный борщ восстановлен в последней редакции; дочка, не названная по имени, недоступна детскому воображению, и вновь появилось имя мальчика. Вся эта правка делалась ради двух предложений!

Для Толстого «писать хорошим русским языком» означало: «язык должен быть понятный, народный и умышленно не испещрённый словами местного наречия»; «нужны понятные короткие предложения» (8, 427, 429).

Среди историй, рассказанных в азбуках и книгах для чтения, много переделок басен, сказок, легенд разных народов.

«Три калача и одна баранка» — переложение индийской басни «Человек и половина пирожного», прочитанной во французском переводе: человек съел шесть пирожных, но только после половины седьмого почувствовал себя сытым.

У Толстого действие перенесено на родную русскую землю; отсюда — мужик, калачи и баранка.

Автограф:

«Один мужик ездил в город. Когда он уезжал, ему захотелось есть. Он купил себе один трехкопеечный калач и съел его. Но ему ещё больше захотелось есть. Тогда он купил другой такой же калач и съел, и всё ему хотелось есть, и он съел третий калач, и ему всё ещё хотелось есть. Он купил себе баранок и съел одну баранку, почувствовал, что он сыт, и подумал, что он сыт только от этой одной баранки. Тогда он ударил себя по голове и сказал: „Какой я дурак, зачем я съел напрасно столько калачей. Мне бы надо было сначала съесть одну баранку, и я был бы сыт.“» (Отдел рук. ГМТ, инв. № 9196/101, оп. 2, л. 14).

Окончательный текст выглядит так:

«Одному мужику захотелось есть. Он купил калач и съел; ему всё еще хотелось есть. Он купил другой калач и съел; ему всё еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел; и ему всё ещё хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:

„Экой я дурак! что ж я напрасно съел столько калачей? Мне бы надо сначала съесть одну баранку“» (21, 162).

В рукописи вместо первой фразы было две. Важен факт: бесхитро-стный мужик захотел есть. Не имеет значения: в городе или соседнем селе это произошло. Сколько стоит калач, тоже неважно; к тому же ребёнку довольно трудно прочитать: «трёхкопеечный калач».

В безупречной простоте изложения возник поразительно гармоничный ритм, склад и вместе с тем комизм. Толстой, используя фольклорный приём тоекратного повтора предложений, передает замедленность действия — безуспешного утоления голода; лексико-грамматическая близость подчёркивает комизм происходящего. Характерно, что литературное «Какой я дурак, зачем я съел напрасно» заменено простонародным и разговорным: «Экой я дурак! что ж я напрасно съел...»

В 1862 году в журнале «Ясная Поляна» была напечатана статья «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». В ней Толстой рассказал о совместном с учениками яснополянской школы сочинении ма-

леньких рассказов. Писатель был поражён: в неиспорченной душе крестьянского ребенка «чувство красоты, правды, меры», которое «огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, живёт «во всей его первобытной силе» (8, 307).

Старший сын писателя — С. Л. Толстой — в «Очерках былого» вспоминал: «Он говорил, что народная мудрость, выраженная в пословицах, поговорках, легендах, сказках и т. п., рассеяна по всей России; частицы её можно услышать то от одного человека, то от другого; а в целом они, дополняя друг друга, выясняют мировоззрение русского народа» (Толстой С. Л. Очерки былого. М., 1956. С. 87).

В богатейших кладовых русского фольклора Толстой находил темы, сюжеты, героев своих произведений. Для него фольклор — хорошая школа «коренного русского языка». В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого отмечено: 9 июня 1905 года «Бирюков спросил Л. Н. о былинах, откуда их брал в „Книги для чтения“? Л. Н.: У меня все были. Кое-что пришлось в них переменять (дополнить). За советами о поэзии, рифме я обращался к Аксакову, Бессонову — не знал, потом к Голохвастову, он советовал рифму держать. С любовью делал» (Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. I. С. 308).

Каждую из четырёх «Русских книг для чтения» Толстой заключил былинной: «Святогор-богатырь», «Сухман», «Вольга-богатырь», «Микулушка Селянинович».

«Вольга-богатырь» — результат творческой переработки сюжета трёх былин: «О Вольге Буслаевиче», «О Вольге Всеславьиче» и «Волх Всеславьевич», помещённых в собрании былин П. Н. Рыбникова (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М., 1861. Ч. I. С. 1—17). Рукописи испещрены таким количеством поправок, что их очень трудно читать.

Рассмотрим лишь один эпизод быliny — рождение Вольги. В трёх фольклорных вариантах зачин выглядит так:

«О Вольге Буслаевиче»

Порождался Вольга сударь Буслаевич
 На матушке на святой Руси.
 Рос Вольга Буслаевич до пяти годков,
 Пошёл Вольга сударь Буслаевич по сырой земли:
 Мать сыра земля сколыбалася,
 И звери в лесах разбежались,
 И птицы по подблачью разлетались,
 И рыбы по синю морю разметались.

(Записано от слепого крестьянина Козьмы Романова, Петрозаводский уезд)

«О Вольге Всеславьиче»

Тогда народился младый богатырь,
Младый богатырь Вольга Всеславьевич.

(Записано от крестьянина Пудожского уезда)

«Волх Всеславьевич»

А в Киеве родился могуч богатырь,
Как бы молодой Волх Всеславьевич;
Подрожала сыра земля,
Стряслось славно царство Индейское,
А и синее море сколебалося
Для ради рождения богатырского
Молода Волха Всеславьевича;
Рыба пошла в морскую глубину,
Птица полетела высоко в небеса,
Туры да олени за горы пошли,
Зайцы, лисицы по чащицам,
А волки, медведи по ельникам,
Соболи, куницы по островам.

*(По сб. Кириши Данилова
«Древние Российские стихотворения»)*

В зачине стихов — сказки «Вольга-богатырь» также говорится о великом смятении на земле по случаю рождения богатыря:

«На святой Руси на матушке
Народился удал молодец
Свет Вольга — сударь Буслаевич;
От рожденья богатырского
Потряслася мать сыра земля,
Море сине всколыбалося,
Рыбы в глубь моря забилися,
Звери в чащи схоронилися,
Потряслось царство Турецкое» (21, 257).

Появлению этого текста предшествовали долгие поиски нужного слова, каждого предлога или повтора. Об этом говорят автографы (ГМТ, инв. № 88/11, рук. 14 а—з). И прежде чем в четвертой редакции появилось: «От рожденья богатырского» — прошли варианты: *От рожденья богатырского Что того Вольги Буславьича; От рожденья богатырского Того Вольги Святос-*

лавича; От рожденья от богатырского; От рожденья богатырска; От того ли от рожденья; От рожденья богатырска Вольги сударь.

И наконец: От рожденья богатырского.

До того как писатель остановил свой выбор на форме «Потряслась мать сыра земля», им были перепробованы: *Затряслась земля; Состряслась земля-то вся; Потряслась мать сыра земля вся; Ажно затряслась вся земля; Состряслась мать сыра земля; Затряслась как вся земля; Затряслась мать сыра земля; Зидрожала мать сыра земля; Зидрожала вся земля; Подрожали мать сыра земля, Море синее; Потряслась земля сырая; Мать сыра земля стряслась; Мать земля сыра встряслась; Мать земля сыра стряслась; Земля мать сыра потряслась.* И, наконец, последнее: Потряслась мать сыра земля.

В синонимическом ряду глагол *потряслась* имеет значение «сильно, но недолго качаться, колебаться». Ровно столько, чтобы ответить на рождение младенца-богатыря.

А вот подступы к окончательному варианту «Звери в чащи схоронились»: *Звери в щели схоронились; Звери в чащицы попрятались; Звери в чащицы забилась; Звери в чащи схоронились.* Здесь подлежащее и сказуемое были найдены почти сразу; упорная работа шла над определением места действия.

Иную картину наблюдаем в работе над строкой «Потряслось царство Турецкое». Приведём предшествующие ей варианты: *Затряслось царство Индейско; Затряслось Индейско царство; Затряслось Турецко царство; Затряслось царство Турецко; Потряслось царство Турецко; Потряслось царство Индейско.*

Автографы свидетельствуют и о большой работе над синтаксической структурой стиха «Вольги-богатыря». Писатель стремился сделать его интонационно гармоничным, напевным (синтаксический параллелизм).

Первоначальным неуспехом «Азбуки» Толстой был огорчён сильно, хотя и предчувствовал её нелегкую судьбу. Ещё в начале печатания книги он писал Н. Н. Страхову: «Я знаю, что меня будут ругать» (61, 278). Знал: прежде всего будут ругать за язык, за те «рисунки карандашом без теней», в которые «положил всю душу».

С. Миропольский в «Народной школе» пришел к печальному заключению: «Что касается языка, которым написана „Новая азбука“, то в нём нет и признаков блестящего, талантливой, картинного меткого языка нашего любимого романиста... Это чаще всего полудетский, полукрестьянский жаргон, ни мало не изящный, лишённый картинности» (1876. № 2. С. 17—18). Журнал

«Грамотей» упрекал: Толстой «иногда щеголяет народным языком до темноты, так что трудно понять» (1875. № 9. С. 50).

Более проникновенен был А. А. Фет. В 1877 году он писал Толстому: «„Мыши пили воду. Баба мыла руки. Маша била Васю“ раздаётся из коридора, где девочка, благодаря Вашей превосходной „Новой азбуке“, читает эти истины, 10 дней тому назад увидавшая впервые буквы. Пора окончательно убедиться людям, что книжки для детей не составляют исключительной области людей, не способных ничего писать для взрослых» (Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 474). И спустя два года: «Какая прелесть Ваша азбука новая — у гуся ноги сини, я её изучаю с девочкой и вижу всё изумительное мастерство то новых, то повторяющихся сочетаний букв» (Там же. Т. 2. С. 86).

Обещая Н. Н. Страхову в журнал «Заря» рассказ «Кавказский пленник», Толстой заметил: «Это образец тех приёмов и языка, которым я пишу и буду писать для больших» (61, 278). Впереди были «Анна Каренина», народные рассказы и драматические произведения... Впереди был путь длиной почти в сорок лет.



«Всё было, как всегда...»

На подступах к «диалогу»
между А. Блоком и Ф. Сологубом

О. А. ЛЕКМАНОВ

Творческие контакты Александра Блока и Фёдора Сологуба до сих пор изучены недостаточно. Так, в фундаментальном исследовании П. П. Громова «А. Блок, его предшественники и современники» (Л., 1986) Сологуб упоминается лишь эпизодически. Е. Б. Тагер в статье «Модернистские течения в русской литературе и поэзия межреволюционного десятилетия (1908—1917)», помещая раздел о Блоке вслед за разделом о Сологубе, ограничился следующим категоричным замечанием: «Главной противоположностью Сологубу предстает Блок» (Тагер Е. Б. Избр. работы о литературе. М., 1988. С. 371). Между тем Сологуб долгое время был для Блока одной из самых притягательных фигур среди символистов как старшего, так и младшего поколений — его имя встречается в дореволюционных критических статьях поэта едва

ли не чаще, чем имена главных блоковских «собеседников» тех лет: Д. С. Мережковского, Андрея Белого и Вяч. Иванова.

Всестороннее и обстоятельное изучение поэтического «диалога» между Блоком и Сологубом — тема для будущих исследований. Задача настоящей заметки не в пример скромнее — восстановить только одну из «реплик» этого «диалога».

24 марта 1907 года Фёдор Сологуб написал стихотворение, которое вскоре стало его поэтической визитной карточкой:

Всё было беспокойно и стройно, как всегда,
И чванились горы, и плакала вода,
И булькал смех девичий в воздушный океан,
И басом объяснялся с мамашей грубиян.
Пищали сто песчинок под дамским башмаком,
И тысячи пылинок врывались в каждый дом.
Трава шептала сонно зелёные слова.
Лягушка уверяла, что надо квакать ква.
Кукушка повторяла, что где-то есть куку,
И этим нагоняла на барышень тоску,
И, пачкающий лапки играющих детей,
Побрызгал дождь на шапки гуляющих людей.
И красили уж небо в берлинскую лазурь,
Чтоб дети не боялись ни дождика, ни бурь,
И я, как прежде, думал, что я — большой поэт,
Что миру будет явлен мой незакатный свет.

Спустя ровно семь лет и два месяца — 24 мая 1914 года Александр Блок написал стихотворение, позднее вошедшее в цикл «Жизнь моего приятеля»:

День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом.
Все говорили кругом
О болезнях, врачах и лекарствах.
О службе рассказывал друг,
Другой — о Христе,
О газете — четвёртый.
Два стихотворца (*поклонники Пушкина*)
Книжки прислали
С множеством рифм и размеров.
Курсистка прислала
Рукопись с тучей эпитафий
(Из *Надсона и символистов*).
После — под звон телефона —
Посыльный конверт подавал,
Надушенный чужими духами.
Розы поставьте на стол —
Написано было в записке,
И приходилось их ставить на стол...
После — собрат по перу,
До глаз в бороде утонувший,
О причитаньях у южных хорватов
Рассказывал долго.

Критик, грома футуризм,
 Символизмом шпынял,
 Заключив реализмом.
 В кинематографе вечером
 Знатный барон целовался под пальмой
 С барышней низкого звания,
 Её до себя возвышая...
 Всё было в отменном порядке.

Он с вечера крепко уснул
 И проснулся в другой стране.
 Ни холод утра,
 Ни слово друга.
 Ни дамские розы,
 Ни манифест футуриста,
 Ни стихи пушкиньянца,
 Ни лай собачий,
 Ни грохот тележный —
 Ничто, ничто
 В мир возвратить не могло...

И что поделаешь, право,
 Если отменный порядок
 Милого дольного мира
 В сны иногда погрузит,
 И в снах этих многое снится...
 И не всегда в них такой,
 Как в мире, отменный порядок...
 Нет, очнёшься порой,
 Взволнован, встревожен
 Воспоминанием смутным,
 Предчувствием тайным...
 Буйно забьются в мозг
 Слишком светлые мысли...
 И, укрощая их буйство,
 Словно пугаясь чего-то, — не лучше ль,
 Думаешь ты, чтоб и новый
 День проходил, как всегда:
 В сумасшествии тихом?

Уже первая строка блоковского стихотворения «День проходил, как всегда...» отчасти повторяет начало стихотворения Сологуба «Всё было беспокойно и стройно, как всегда...», что для внимательного читателя служит указанием на присутствие в стихотворении Блока сологубовского подтекста. Вскоре правильность этой догадки подтверждается, так как в финальной строке первой части блоковского стихотворения также повторяется начало стихотворения Сологуба: «*Всё было в отменном порядке*». Вторая строка стихотворения Блока: «*В сумасшествии тихом*» заставляет вспомнить о словах, которыми он охарактеризовал поэзию Сологуба в одной из статей 1907 года: «*(...)* в стихах он говорит чаще о жизни прекрасной, о красоте, о тишине. Муза его —

печальна или *безумна*» (Блок А. А. Творчество Фёдора Сологуба//Блок А. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 147). Ср. также в финале сологубовского и блоковского стихотворений: «И я, как прежде, *думал* <...>»; «*Думаешь ты* <...>».

Оба стихотворения начинаются со сходного утверждения: всё было, как всегда. Далее у поэтов следует описание этого «как всегда».

У Сологуба несколькими штрихами набросана картина каждодневной жизни всего человечества, всей планеты («И чванилися горы»; «И булькал смех девичий в *воздушный океан*»; «И тысячи пылинок врывались в *каждый дом*»), дополненная отдельными, сочно выписанными подробностями в духе Саши Черного («И басом объяснялся с мамашей грубиян»; «Кукушка повторяла, что где-то есть куку,/И этим нагоняла на барышень тоску»). Обилие глаголов прошедшего времени несовершенного вида, перечислительная интонация, а также повторяющийся в начале 8 из 16 строк стихотворения союз *и* создают у читателя ощущение рутинности, ежедневной повторяемости описываемых событий. Однако из череды унылых и пошлых картин выбивается одна — яркая и праздничная, словно оправдывающая безрадостную скуку, в которую погружен мир («И красили уж небо в берлинскую лазурь,/Чтоб дети не боялись ни дождика, ни бурь». Ср. в стихотворении Сологуба 1897 года: «Живы дети, только дети, — /Мы мертвы, давно мертвы»). Глагол будущего времени сослагательного наклонения употреблен в сологубовском стихотворении единственный раз — в финальной строке («Что миру *будет явлен мой незакатный свет*»), причём он, очевидным образом, противопоставлен этому же глаголу в форме прошедшего времени из первой строки стихотворения («*Все было* беспокойно...»). Стихотворение закольцовывается. А читателю становится ясно, что ожидания сологубовского поэта иллюзорны — миру не нужен его «незакатный свет», так как он разрушал бы «беспокойное», но «стройное» течение жизни, её скупную гармонию.

Если у Сологуба «поэт» появляется лишь в финальных строках стихотворения, у Блока сама обыденная жизнь представлена как жизнь «поэта», а в «поэте» без труда узнается автор (хотя Блок и дал циклу маскирующее заглавие «Жизнь моего приятеля»). Блок использует сходные с сологубовскими, поэтические способы создания атмосферы этой обыденной жизни: нагнетание глаголов прошедшего времени несовершенного вида, перечислительную интонацию, повторение одних и тех же слов в пределах близлежащих строк («Два стихотворца (поклонники Пушкина)/Книжки *прислали*/С множеством рифм и размеров./Курсистка *прислала* <...>»; «Ни холод утра,/Ни слово дру-

га,/Ни дамские розы,/Ни манифест футуриста,/Ни стихи пушкиньянца,/Ни лай собачий,/Ни грохот тележный — /Ничто, ничто <...>», кольцевую композицию (Ср. в статье Блока «Безвременье», 1906: «Как бы циркулем они стали вычерчивать какой-то механический круг собственной жизни, в котором разместились, теснясь и давя друг друга, все чувства, наклонности и привязанности»). Но у Сологуба обыденности и пошлости окружающего мира противопоставлена, как мы видим, картина, органично принадлежащая этому же миру. В стихотворении Блока миру, в котором царит «отменный порядок», противопоставит таинственный и опасный мир «снов». Опасный настолько, что лирический герой стихотворения сам спешит возвратиться на круги своя («Буйно забьются в мозгу/Слишком светлые мысли.../И, укрощая их буйство,/Словно пугаясь чего-то,— не лучше ль,/Думаешь ты, чтоб и новый/День проходил, как всегда:/В сумасшествии тихом?»).

Сопоставление стихотворений Сологуба и Блока, воспринятых «на полном серьёзе», казалось бы, позволяет почувствовать разность в мироощущении двух поэтов и, шире,— в мироощущении старшего и младшего поколений символистов: Сологуб твёрдо знает, что в его произведениях «явлен незакатный свет». Вопрос лишь в том, нужен ли он окружающему миру. Блоковский «приятель», не в силах подняться до своих же собственных «слишком светлых мыслей», предпочитает укрыться в скорлупе «милого дольного мира».

Однако, учитывая, что сологубовское приятие «стройной» картины окружающей действительности столь же иронично, как и блоковские строки об «отменном порядке/Милого дольного мира», рискнём предположить, что позиции двух поэтов и двух поколений символистов не столь различны, как может показаться.



«Жизнь — чудо из чудес...»

*Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук*

Среди моих любимых книг — скромная, тоненькая книжка, написанная старым, больным человеком, пережившим войны и революции, потерявшим многих близких и родных, товарищей и сверстников, но сохранившим дар удивляться и радоваться жизни.

Белоснежная обложка, и на ней черными буквами — «Зимний день». Так назвал один из последних своих сборников стихов замечательный русский поэт Арсений Тарковский. Смотрю на заглавие и обложку, и первые ассоциации, конечно, — зрительные, изобразительные: «всеобесцвечивающая зима». Быстро нахожу подтверждения — «Зима в лесу», «Мартовский снег», «Стелил я снежную постель...» Однако вскоре обнаруживаю, что зима у Тарковского — не только пейзажные картины, но и символ

умирания: зимний лес в «смертном сраме» и «на смерть готов», «снежный застой» и «лебяжья смертная мука», «снег лежит у тебя на могиле», «коченеющий лед» и «снежная балтийская пустыня», а с другой стороны, воплощение «снежного, полного веселости мира», зимнего простора и малинового снега, снежной шири и синевы.

Затем после прочтения цикла «Пушкинские эпитафии» возникают литературные сопоставления, и «Зимний день» становится в ряд с «Зимним утром» и «Зимним вечером» Пушкина, образуя как бы центральную часть триптиха.

И наконец, дочитав книгу А. Тарковского до конца и восприняв ее как «роман судьбы», замечаю в названии еще один смысловой слой — «середина» зимы-старости, время подведения жизненных итогов. При этом временной отсчет ведется не с детства и юности поэта, а с исторического опыта, отложившегося в его личности (то, что было до меня,— во мне), и вехи собственной биографии осознаются в свете истории и мифологии.

Я гляжу из-под ладони
 На тебя, судьба моя,
 Не готовый к обороне,
 Будто в Книге Бытия.

Биографическая фабула расширяется до историко-мифологического сюжета, по ступеням сновидений-воспоминаний и пере-довоплещений («И повторится всё, и всё довоплотится, И вам приснится всё, что видел я во сне») мы проходим по реальным дорогам авторской жизни: «Был домик в три оконца», «Я в детстве заболел», «Как сорок лет тому назад», «И эту тень я проводил в дорогу», «Меркнет зрение, сила моя», «А все-таки я не истец» — и странствуем по разным эпохам, которые оживают и входят в сегодняшний день, откладываясь в наших душах и памяти: «электронная лира ... сочиняет стихи Кантемира», «Я жил, невольно подражая Григорию Сковороде», «Как мимолётное виденье, Опять явилась Муза мне», «Как тот Кавказский Пленник в яме (...) И я неловкими руками Лепил свистульки для детей».

Путешествуя из минувшего в настоящее и наоборот — «из дней грядущих в прошлое мое», поэт общается и с историей, и с мифами, погружается в них: гроза предстает в библейском обличии; как при Пилате, крикнул третий петух и мучает вопрос: «от кого я отрекся во сне?»; несется колесница Фаэтона, Амур учит бабочек любовному хороводу, Мороз-Кощей идет «в рубахе погорельца»; ссыльный в Сибири читает Герцена, а Россию ждут «Мазурские топи» и «Гришкины дела».

Движение времени и его текучесть являются доминантой

авторских раздумий: «через годы и века», «из времени во время», «былые времена», «стародавних лет», «ночью медленно время идет», «чей-нибудь завершается год», «вот и лето прошло», «я шесть веков дышу его огнем». К этому временному круговороту подключается и слово день (из заглавия) — белый и окаянный, день творенья и грядущие дни; день, промытый, как стекло, и день, восстановленный в ночи, обозначая не столько часть суток, сколько светлое время жизни, противостоящее тьме, ночи, смерти. А значит, и само название сборника обрастает новыми, дополнительными смысловыми оттенками.

Нам открывается мир, полный чудес: время можно носить в кувшинах, ведрах и банках из-под компота, «ходят и плачут на шарнирах и в дырах пространство и время», осины застыли вверх ногами и зарылись в землю головой, «столько было сирени в июне, что сияние мира синело», ласточки говорят по-варварски, бабочки хохочут, как безумные. Всё взаимосвязано, и одно напоминает другое, третье ... Красный фонарик на снегу — то ли листок, то ли обрывок бинта, то ли снегирь; ворона на березе — как проза на бумаге; листва, похожая на крылья бабочек, а хоровод бабочек — на «ватагу школьников»; пляшут звезды и вода, шмель и Давид — плачут птица и погорелец, мать над пустой люлькой и камень под пятой.

И поэт готов «благословить земное чудо», а потом «вернуться на родной погост» и даже «на склоне горчайшей жизни», когда «меркнет зрение» и «глохнет слух», вопреки всем потерям, верит в «праздничные щедроты счастливых бурь» и надеется сохранить в душе,

что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намигала вода, накисло кислица ...

События далекого и близкого прошлого, тени великих предшественников — от Феофана Грека до Пушкина, библейских предков — от Адама до апостолов, друзей и родных проходят через всю книгу. А кульминация ее — размышления (в основном ночные) о старости и смерти, о совести и счастье, о творчестве и славе.

Я — свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,

Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

Сборник «Зимний день» начинается философским сонетом «И это снилось мне, и это снится мне...», в котором поэт, преодолевая чувства одиночества и сиротства, приобщается к миру и преклоняется перед чудом жизни: «Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду/Один, как сирота, я сам себя кладу». А заканчивается патетической «Одой», воспевающей вдохновение, что дарит родство со вселенной и ощущение высоты, несмотря на муки, соль со лба и «кровь из-под стоп», и юмористической поэмой «Чудо со щеглом», где щегол-колдун разгоняет злые чары и растапливает черствое сердце. А. Тарковский не случайно завершает свою книгу о встрече со старостью шутивным аккордом, считая, что нельзя «оставить трагическое в состоянии безвыходности», а надо дать преодоление, катарсис, просветление.

Так трагизм «чудного, чудесного, чудного» мира побеждается добротой, любовью и поэзией.

Алма-Ата



Николай Минский

Читателю, воспитанному на лучших образцах русской поэзии XIX века, не просто одолеть четырехтомник стихотворений и поэм Н. Минского, изданный в 1907 году, — столько там риторики, общих мест, выпренного пафоса. Тем не менее имя этого стихотворца закрепилось в истории литературы как одного из зачинателей русского символизма, провозгласившего, наряду с Д. С. Мережковским, основные постулаты нового для России направления в поэзии. В 1884 году в киевской газете «Заря» Н. Минский напечатал статью «Старинный спор» — раннюю декларацию русского декадентства. Позднее поэт выпустил сугубо идеалистическую, горячо и красноречиво написанную книгу «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни», где обрисовал стремление человека к недоступному, непостижимому. Эту книгу решительно осудили, называя её несостоятельной, и идеалисты (Вл. Соловьев, Н. Бердяев), и материалисты (Г. Плеханов). В девяностых и в начале девятисотых годов Минский принял участие в организации Религиозно-философских собраний, был деятельным сотрудником петербургского журнала «Северный вестник», в котором печатались преимущественно декаденты — будущие символисты: Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Бальмонт.

Николай Максимович Минский, настоящая фамилия — Виленкин (1856—1937), родился в селе Глубоком Виленской губернии в небогатой еврейской семье. В 1875 году он с золотой медалью закончил гимназию в Минске, в 1879 году — юридический факультет Петербургского университета, получив степень кандидата. В 1882 году принял православие. Не имея заработка в качестве юриста, был домашним учителем в семье барона О. Гинзбурга, вместе с этой семьей побывал в Италии и Франции, проведя там полтора года. Числился присяжным поверенным Санкт-Петербургской судебной палаты, в конце восьмидесятых годов состоял архивариусом в Русском для внешней торговли банке.

Первые стихотворения Минского появились в печати в 1876 году. Вскоре он уже печатался в журнале «Вестник Европы»

(выступил в нем, в частности, с актуальной по теме, но риторичной поэмой «На родине» — о турецких зверствах в Болгарии). Его поэзия в ту пору носила открыто гражданственный характер. Н. Минский вошел в число стихотворцев — «печальников горя народного», как он сам называл поэтов восьмидесятых годов некрасовской ориентации. За напечатанную в 1879 году в подпольной газете «Народная воля» свободолюбивую поэму «Последняя исповедь» (её сюжет И. Е. Репин взял для своей картины «Отказ от исповеди перед казнью») цензура сожгла первый сборник стихов Н. Минского. Издать этот сборник ему удалось лишь спустя несколько лет.

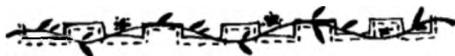
Отношение современников к поэзии Минского было довольно противоречивым, но скорее отрицательным. Его упрекали в недостаточной художественности. В девяностых годах В. Брюсов писал, что Минский «плохо владеет стихом», что у него «совершенно нет чутья гармонии, размер его стихов зачастую противоречит содержанию», но изменил свое мнение к лучшему, прочитав стихотворение поэта «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...» А в письме к Надсону старый А. Н. Плещеев в 1881 году характеризовал Минского как «в сущности фразёра, хотя и владеющего хорошо стихом, чьи самые лучшие вещи надуманы, а не пережиты, не перечувствованы... «Платит дань риторике», «не горит и не зажигает», «над живою непосредственностью у него преобладает мысль», «не совсем поэт», — отзывался о Минском Ю. Айхенвальд в десятых годах двадцатого столетия. Словарь Брокгауза-Ефрона (1892) отмечал «острое внимание поэта к проклятым вопросам века», приподнятость тона стихов Минского, богатство образов. «Безнадёжная тоска и отчаяние — основные мотивы поэзии Минского», — говорилось в словарной статье.

Переломным в биографии поэта стал революционный 1905 год. Минский добился разрешения и выступил редактором-издателем легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В газете публиковалась статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», первая программа РСДРП, «Заметки о мещанстве» М. Горького. Сам Минский переводит (в сокращении) «Интернационал», публикует свое стихотворение «Гимн рабочих» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Вскоре он был арестован и привлечен к суду, ему было предъявлено обвинение «в призыве к ниспровержению существующего строя». Под крупный денежный залог он был выпущен из-под ареста и, оказавшись на свободе, эмигрировал. Жил в Париже, печатался в московской газете «Утро России». На недолгий срок Минский возвращался в Россию по амнистии 1913 года, потом вновь уехал за границу. В первую мировую войну служил военным корреспондентом во Франции.

Оставался за границей и после Октябрьской революции, жил сначала в Берлине, затем в Лондоне. Работал в советском посольстве в Лондоне; после временного разрыва дипломатических отношений советской России с Англией ушёл со службы в посольстве и переехал в Париж, где и скончался. От литературы к тому времени он давно уже отошел.

До революции за границей Н. Минский написал несколько драм философского звучания. Ещё в 1897 году он напечатал книгу о Генрике Ибсене, перевел, после Гнедича, гомеровскую «Илиаду», а также произведения Поля Верлена, Шелли, Байрона, Шекспира, Мольера. В 1923 году в Берлине он издал и поныне с интересом читающееся эссе «От Данте к Блоку» (в нём трактуется вопрос о свободе личности и любви), а также сборник избранных стихотворений «Из мрака к свету».

Н. В. Банников



Над могилой В. Гаршина

Ты грустно прожил жизнь. Больная совесть века
Тебя отметила глашатаем своим;
В дни злобы ты любил людей и человека
И жаждал веровать, безверием томим.
Но слишком был глубок родник твоей печали:
Ты изнемог душой, правдивейший из нас,—
И струны порвались, рыдания отзвучали...
В безвременья ты жил, безвременно угас!

Я ничего не знал прекрасней и печальней
Лучистых глаз твоих и бледного чела,
Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине недостижимо-дальней.
И творчество твоё, и красота лица
В одну гармонию слились с твоей судьбою,
И жребий твой похож, до страшного конца,
На грустный вымысел, рассказанный тобою.

И ты ушёл от нас, как тот певец больной,
У славы отнятый могилы дуновеньем;
Как буря, смерть прошла над нашим поколеньем,
Вершины все скосив завистливой рукой.

Чья совесть глубже всех за нашу ложь болела,
Та дольше не могла меж нами жизнь влачить,
А мы живём во тьме, и тьма нас одолела...
Без вас нам тяжело, без вас нам стыдно жить!

1888

* *
*

В каких бы образах и где бы средь миров
Ни вспыхнул мысли свет, как луч средь облаков,
Какие б существа ни жили,—
Но будут рваться вдаль они, подобно нам,
Из праха своего к несбыточным мечтам,
Грустя душой, как мы грустили.

И потому не тот бессмертен на земле,
Кто превзошёл других в добре или во зле,
Кто славы хрупкие скрижали
Наполнил повестью, бесцельною, как сон,
Пред кем толпы людей — такой же прах, как он,—
Благоговели иль дрожали,—

Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещился вдали —
Несуществующий и вечный,
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал
Среди пустыни бесконечной.

<1887>

На корабле

Зажглась звезда, поднялся ветерок,
Склонялся день за горы Дагестана.
И все, молясь, глядели на восток.
Татары повторяли стих Корана.

Рабы Христа творили знак святой,
Калмыки в тишине зывали к ламе,
И чуждый всем еврей скорбел о храме
И Богу докучал своей тоской.

Лишь я один, к кому взывать, не зная,
Глядел на мир. И прелесть неземная
Была в журчаньи вод, в лучах светил,
Как будто в рай держали мы дорогу.

Один в тот вечер слёзы я пролил
И, может быть, один молился Богу.

〈1893〉

* *
*

Она, как полдень, хороша,
Она загадочней полночи.
У ней не плакавшие очи
И не страдавшая душа.

А мне, чья жизнь — борьба и горе,
По ней томиться суждено.
Так вечно плачущее море
В безмолвный берег влюблено.

Наше горе

Не в ярко блещущем уборе
И не на холеном коне
Гуляет-скачет наше Горе
По нашей серой стороне.
Пешком и голову понуря,
В туманно-сумрачную даль
Плетётся русская печаль.
Безвестна ей проклятий буря,
Чужда хвастливая тоска,
Смешна кричащая невзгода.
Дитя стыдливого народа,
Она стыдлива и робка,
Неразговорчива, угрюма,
И тяжкий крест несёт без шума.
И лишь в тени родных лесов,
Под шёпот ели иль берёзы,
Порой вздохнёт она без слов
И льёт невидимые слёзы.
Нам эти слёзы без числа
Родная муза сберегла...

〈1878〉

В деревне

Я вижу вновь тебя, таинственный народ,
О ком так горячо в столице мы шумели,
Как прежде, жизнь твоя — увы — полна невзгод,
И нищеты ярмо без ропота и цели
Ты всё ещё влачишь, насмешлив и угрюм.
Та ж вера детская и тот же древний ум;
Жизнь не манит тебя, и гроб тебе не страшен
Под сению креста, вблизи родимых пашен.

Загадкой грозною встаёшь ты предо мной,
Зловещей, как мираж среди степи безводной.
Кто лучше: я иль ты? Под внешней тишиной
Теченья тайные и дно души народной
Кто может разглядеть? О, как постигнуть мне,
Что скрыто у тебя в душевной глубине?
Как мысль твою прочесть в твоём покорном взоре?
Как море, тёмн ты,— могуч ли ты, как море?

Тебя порой от сна будили, в руки меч
Влагали и вели,— куда? — ты сам не ведал.
Покорно ты вставал... Среди кровавых сеч
Не раз смущённый враг всю мощь твою изведal.
Как лев бесстрашный, ты добычу добывал,
Как заяц робкий, ты при дележе молчал...
О, кто же ты, скажи: герой великодушный
Иль годный к битве конь, арапнику послушный?

Новонайденный фрагмент романа В. Ф. Одоевского

«На меня нападают за мой энциклопедизм, смеются даже над ним. Но не приходилось еще ни разу сожалеть о каком-либо приобретённом познании. Мне советуют, удариться в какую-либо специальность; но это противно моей природе», — написал однажды князь Владимир Федорович Одоевский (1803—1869). Жизнь этого удивительного человека была редкостным примером высокой и разносторонней образованности, щедро используемой во многих областях знания. Недаром современники, чтившие таланты Одоевского, присвоили ему титул «русского Фауста», и в этой оценке не было ни тени преувеличения или комплимента. Друг Пушкина, Вяземского и Жуковского, соратник Глинки, Гоголя, Островского и других корифеев русской культуры, он вошёл в её историю как блистательный писатель и критик, оригинальный философ, незаурядный музыковед и исполнитель, вдумчивый теоретик педагогики, крупный общественный деятель и т. д. Его знаменитый роман «Русские ночи», «роман идей», стал одной из вершин отечественной философской мысли 1840-х годов, книгой, которая «одинока в истории нашей литературы; её просто не с чем сравнить» (Сахаров В. И. О жизни и творениях В. Ф. Одоевского // Одоевский В. Ф. Собр. соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 19). Столь же своеобразной всегда была и гражданская позиция Одоевского: никогда не уклоняясь от идейных схваток, он сумел и здесь сохранить неповторимость, сражался страстно, но ни одна из партий так и не смогла полностью располагать его мировоззренческой самобытностью.

Творческое наследие автора «Русских ночей» огромно, но часть рукописей — в первую очередь, в силу скромности князя и его требовательности к себе — так и не была опубликована при жизни Одоевского. Кое-какие лакуны удалось ликвидировать в последние десятилетия, но многое до сих пор не извлечено из архивов. По-прежнему актуальны горестные слова мыслителя, произнесенные им на склоне лет: «Моя история ещё не написана». Особенно не повезло трудам, создававшимся в 1850—1860-е годы: «Поздний Одоевский — интересная и совершенно нераскрытая страница нашего общественного и эстетического развития» (Манн Ю. В. Книга исканий: В. Ф. Одоевский и его «Русские ночи» // Проблемы романтизма. М., 1967. С. 355).

Эта страница оказалась вклеенной в книгу русской истории

как раз посередине главы, посвященной XIX веку. На долю Одоевского выпала трудная миссия: он, пережив многих современников, стал свидетелем отмирания своей эпохи. Его «Русские ночи» — венок на могилу собственной молодости, «верная картина той умственной деятельности, которой предавалась московская молодежь 20-х и 30-х годов, о чём почти не сохранилось других сведений». Но, присутствуя на отпевании славной эпохи, князь одновременно созерцал и зарождение новой — во многом неожиданной, дискомфортной, а подчас и чуждой. Созерцание неизбежно влекло к стопке бумаги.

Бытовало мнение, что в конце жизни Одоевский отошёл от литературной деятельности, всецело отдавшись иным поприщам. Выясняется, однако, что на самом деле всё было наоборот. Именно тогда, в 1850—1860-е годы, он упорно работал над романом, который, при более удачном стечении обстоятельств, стал бы своеобразным продолжением «Русских ночей», второй частью дилогии о той России, свидетелем которой «Господь его поставил». Роман должен был носить название «Самарянин», что указывало на его глубинную связь с библейской легендой.

Согласно сказанию, человек, когда-то ограбленный на дороге, не мог получить помощи от случавшихся равнодушных путников. «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его; сжалился» (От Луки, X; 33). Современным продолжателем благих древних дел становился по воле Одоевского герой романа, Петр Иванович Вербин, — учитель, философ, естествоиспытатель: «Ему в школе дали это прозвание потому, что однажды, когда невинный товарищ повалился в грязь, он стал вытаскивать его и обмывать» (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 80, л. 309). Действие романа, охватившего все слои общества, происходило в 1842—1861 годах, но порою возвращалось и во времена александровского правления. По слову Гоголя, «вся Русь» должна была явиться в творении — Петербург, Москва, вымышленный захолустный Реженск и др. Чутко фиксируя новые процессы, происходящие в империи, пристально наблюдая за новыми людьми, игравшими всё более значимую роль в жизни страны, Одоевский одним из первых (по крайней мере, раньше Тургенева с его «Отцами и детьми») провидел и удручающие изъяны выходявшего на авансцену общественного движения. К сожалению, роман так и не состоялся...

Публикуемый ниже отрывок «Школьный учитель» — первые страницы задуманного эпического повествования, обнаруженные в одной из записных книжек Одоевского. Неторопливый рассказ о талантливом химике-самоучке Марке Ивановиче и его убогом семействе — лишь прелюдия к грядущим коллизиям. Вскоре на сцене должен появиться и Самарянин; развитие сюжета вело к

столкновению Вербина с разночинцем Марком Ивановичем; последний не остановился перед подлостью... (Подробнее об этом см.: Медовой М. И. Неосуществленный замысел В. Ф. Одоевского. — В сб.: Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX веков. Л., 1971. С. 156—167). Так Одоевский — одним из первых в русской литературе — ставил в числе прочих и проблему, жгуче актуальную и в XX веке — проблему безнравственности научного знания, не обременённого христианскими добродетелями.

Записная книжка Одоевского с фрагментом неоконченного романа ныне хранится в Москве, в Государственном Центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки (фонд 73).

В публикации сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации.

М. Д. Филин

В. Ф. Одоевский

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Головка пурпурного мака подымалась из флакончика. Подувал ветерок. Ветка зелёной вишни качалась над маком. Солнышко сквозилось сквозь лепестки и листья, и на скатерти их подобие отливало то рубиновым, то изумрудным цветом. Когда вишня качалась, то красный отлив сливался с зелёным в коричневую тень, у которой появлялись светлые желтые окраины...

Комната была пуста. Лишь большой серый кот лежал на столе, свернувшись клубком, да и тот спал глубоко.

Но дверь отворилась — вошел человек в истёртом сюртуке; он бережно повесил картуз на гвоздик, вздохнул от усталости, присел к столу и осмотрелся. Несмотря на усталость, которая выражалась на мирном думающем лице молодого человека, он был поражен прекрасным явлением, которое рисовалось на белой скатерти.

Кот, почуяв хозяина, проснулся, потянулся, забирая лапками в скатерть, и, мурлыкая, стал тереться о руку хозяина; иногда он собою закрывал игру теней, и они вытягивались по его пушистой шерсти.

— Пстой, Васька, не мешай, — сказал молодой человек, ла-

сково отталкивая неотвязного Ваську; взял небольшую призму и, поворачивая ее в разные стороны, старался разнообразить прекрасное, случайно образовавшееся явление, и, весь погружённый в это наблюдение, позабыл свою усталость.

Вокруг него всё было бедно, — но не просто. На дощатых полках красовалось с полсотни книг, как видно, поставленных не ради красоты; сверху — портрет Песталоцци, вырезанный из какой-то книги и в рамке домашней работы. На противоположной стене были также полки, и на них — какие-то прекуриозные вещи; не только простой человек, но и добрый физик не скоро бы разобрал значение этой странной коллекции.

Тут стояли весы со стрелками из соломинки; аргонтова лампа своего изготовления, сделанная из жести и закреплённая проволокою; деревянная миска с дощечкой заменяла химическую ванну, а на ней разбитая аптекарская стклянка гордо разыгрывала роль реципиента. Несколько пузырьков, схваченных резинкою; несколько безымянных осколков, не бывших, как видно, без употребления; с дюжину реактивов, бережно прикрытых стаканами, — дополняли эту доморощенную лабораторию.

Под полками — особый столик, сделанный по всем правилам науки, с колями для стока и пробками на четырех концах; на столике — ртуть в мензурке, паяльная трубка, фильтры, несколько листов бумаги, проволока, пара плоскозубцев, подпидка, ножницы и прочее. Все эти драгоценности были тщательно закрыты стеклянными щитками, колпаками, листами бумаги; и нигде не было ни пылинки. Печная железная труба служила газоотводом.

На третьей стене, против окошек, было нечто ещё более странное — какое-то соединение выпуклых стекол и зеркал, наведённых на листок бумаги, где смутно начинали обозначаться очертания хижины, видной из окошка.

На простенке между окошек был повешен род силуэта, но не черного; то был просто кусок красного коленкора, у которого вылиняли все окраины силуэта.

Письменный стол с ящиками, покойный диван, несколько стульев довершали украшение комнаты...

Всё носило на себе печать работы немножко топорной. Всё, до последней мелочи, было, как видно, сделано самоучкой; отделки никакой; во всём — бедность; но всё было очень удобно и хорошо придумано. Добренькое сморщенное лицо Песталоцци, казалось, с благоговейным удивлением поглядывало с веру полки на этот маленький мир, сотворённый рукою человека; великий педагог, казалось, рассчитывал, какого труда стоило устроить все эти снадобья в отдалённом уездном городишке, без всяких пособий, без всякого подспорья.

Тут было много неудавшихся попыток; много давно изобретённых выдумок; но были и действительные изобретения, на которые ещё не наткнулась богатая наука, окружённая всею роскошью учебных пособий..

Дверь отворилась ещё раз: вошла молодая женщина, бедно одетая. Её профиль весьма походил на силуэт из красного коленкора. Она тихо подошла к мужу, положила руку на его плечо и сказала:

— Что, устал?

— Да,— отвечал он.— А ты устала?

— Да, очень устала.

— Посмотри, какая прелесть у нас на столе.

— Ах! что это такое?

— И сам еще хорошенько не понимаю. Видишь ты, надобно было, чтобы мак, который ты посеяла, вырос именно в меру; чтобы мимо его протянулась наша вишня; и чтобы солнечный луч попал именно в эту точку. Спряжение случайностей — как в целой жизни.

— Это точно изумруд в рубиновой оправе...

— Да! вот какое богатство на нашей скатерти...

— Если бы это списовать — какой бы *⟨была⟩* чудесная брошка!

— некогда срисовывать — уже солнце сходит с этой точки.

Явление исчезает — оно исчезло...

— Как всё в мире? Что ж ты не говоришь твоей поговорки?

— Да, как всё в мире душа,— но я не люблю этой моей поговорки, когда, усталый, возвращаясь домой, нахожу мою милую жёнку...

Жёнка прижалась к мужниной щеке, как бы благодаря за комплимент.

— Ну, что? как у тебя идет в школе?

— Прекрасно. Развиваются, развиваются. Сегодня принёс я им маковую головку и овсяный колос, разрезал и показал им зёрнушки. Они тотчас нашли, что цвело у мака, что цвело у овса, где плод у овса, где плод у мака,— все поняли, и, кабы ты видела, какая радость *⟨была⟩*, что поняли...

— Ну, с моими ученицами не то; говорят, что скучно играть Миллеровы экзерции; да и маленькие тоже. Просят, чтобы выучила играть новую польку.

— Что делать, душа, *не знают!* А ты пока держись. Толкуй им, что когда дойдут до сотой экзерции,— то не одну эту польку, а все польки будут играть...

— Ах, если бы я сама-то получше играла; если бы могла сама-то что порядочно разучить — ведь без фортепьян, суди сам,

это невозможно. Только ныне и игры, что во время урока, на чужих фортепьянах...

— А сколько у нас в синем-то кошельке...

— Я сегодня сосчитала — всего пятьдесят один рубль с полтиною...

— Ну, так надобно еще накопить девятнадцать с полтиною; за семьдесят рублей скупяга Лаврентьев уступит свои фортепьяны, — а остальные тридцать рублей подождёт.

— Тридцать рублей! Легко сказать — скоро ли мы их добудем?

— Ничего! Только бы нажить еще рублей двадцать пять — заплатили <бы> Лаврентьеву семьдесят, на пять рублей выписали <бы> из Москвы новых полек. Ты их выучишь; а придет зима — начнутся танцы в Собрание, — мы и объявим себя оркестром. Ты играй дискант, а я с басом уж как-нибудь справлюсь; как грянем в четыре руки — так весь город ходуном пойдёт. А ты знаешь — хромому музыканту, что был прошедшей зимой, по три рубли за вечер платили. Десять балов — тридцать рублей.

— Да, но каково тебе будет — после такой работы до глубокой ночи на другой день рано в школу подыматься?

— Ничего, — днём как-нибудь сосну.

— Да, знаю, как ты спишь днём — онамедни ты мне сказал: «Дай я усну на полчаса»; я и двери затворила, чтобы тебе не мешать, на цыпочках ходила, маменьку угомонила. Смотрю: полчаса прошло, а ты сидишь за книгою...

— Что делать? Новый журнал мне почтовый смотритель прислал, просил скорей возвратить; а там, знаешь, статья о фотографии — чудо... Теперь я это дело яснее понимаю, и, знаешь ли, что всего веселее, ведь я в моем опыте почти что не ошибся...

— Да, я вчера еще смотрела: хижина выходит, каждый день яснее...

— Нет, уже пиши пропало — из этого ничего не выйдет. Тут надобны кое-какие реактивы. Будут деньги — добудем из Петербурга...

— А мой силуэт...

— Да, твой силуэт... Не я его сделал — он сам сделался, только на мысль меня навел.

— Знаешь, что в тебе дурно, Марк? Ты что раз сделаешь — уже оно тебе нипочём...

— Твоя правда; да так оно и должно быть. Когда я вырезал твой силуэт и наклеил его на картонку, мне и в голову не приходило, что кругом его вылиняет...

— Помнишь, как ты обрадовался, когда нашел, что под бумагой вышел на коленкоре мой силуэт?..

— Да, тогда я понял, что в журналах писали о том, как

ть остановить; помнишь, как над этим все смеялись? говорили, какой вздор пишут в журналах? Да, я обрадовался. Но теперь другое — ведь целые виды, города, портреты в одно мгновение на бумагу снимаются.

— Неужели?

— Да! Дошли до того, что достаточно полсекунды: лошадь на бегу схватывают.

— Ах, как это весело!

— Что весело? — раздался резкий женский голос. В комнату вошла женщина пожилых лет, с кислою миною.

— Какое у вас веселье! Вот у меня — так другое (дело): я десять рублей выиграла.

— Как выиграла, матушка?! Да где же это вы играли спозаранку?

— Да так! Зашла к Прасковье Ивановне, а у ней гости; (поговорили) о том и сём. Один приезжий, из Москвы, вдруг и говорит: «Что золотое время терять? Давайте-ка в вистик. Благо партия есть». Посадили и меня. Игра большая, по четвертаку. Я было на попятный двор, да смелым Бог владеет. Сели — так душа и замирает. Смотрю — карты идут славные, партнер плоховат: оплохи за оплохами. Стали считать — ан я десять рублей в выигрыше. Такая благодать!

Марк Иванович поморщился...

Стилистика



Семафоры проносятся мимо . . .

Об одном типе метонимии
в русском языке

А. Л. НОВИКОВ

Из двух основных разновидностей многозначности метонимия изучена гораздо меньше, чем метафора, несмотря на то, что она была известна уже античным риторикам и поэтикам. Так, Цицерон говорил об образных словах, «в которых вместо точно соответствующего предмету слова представляется иное с тем же значением, заимствованное от предмета, находящегося с данным в теснейшей связи» (Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936. С. 218). Он считал метонимические выражения украшением ораторской речи, образным средством красноречия: они «блещут, как некие светила» (там же, с. 287).

В русской филологии основные типы метонимии были намечены М. В. Ломоносовым в его «Кратком руководстве к

красноречию» (1748): «Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собой имеющих, имена взаимно переносятся» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии. М.—Л., 1952. С. 247). Это образные замены типа: автор — произведение (*читать Вергилия — стихи Вергилия*), действие — лицо (*убийство достойно смертной казни — убийца достоин*), материал, вещество — вещь (*серебром искупить — серебряными деньгами*), сделанная вещь — материал, вещество (*хлеб собирать с поля — пшеницу* и др.), содержащее — содержимое (*острая голова — острый ум*), признак — вещь (*седину почитать должно — старых*) и др.

А. А. Потебня видел главную особенность метонимического значения в том, что оно «сопровождает» содержание слова в его основном значении (Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 234): *восток* (одна из стран света, направление и восточные территории, земли), *жатва* (действие и время жатвы), *рука* (часть тела и почерк, подпись) и т. д. Он и его последователи — лингвисты и литературоведы — дали описание различных типов метонимии. Наиболее полное описание типов метонимии дано в книге Е. Л. Гинзбурга «Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия» (М., 1985).

Образная сторона метонимии рассматривалась в различных трудах и пособиях по теории словесности, стилистике, риторике. Сошлемся в качестве примера на книгу В. Классовского «Состав, формы и разряды словесных произведений» (СПб., 1876. С. 180), где среди различных изобразительных средств речи представлена метонимия: «„Это блюдо отдать шуту моему Доминику“, — сказал однажды за ужином Людовик XIV. „И жаркое тоже взять мне себе, ваше величество?“ — спросил находчивый шут, стоявший за стулом короля. Таким образом король, не желая нарушить свое слово, заплатился буквально блюдом (оно было золотое) за употребление метонимии».

Определяя суть метонимии, следует подчеркнуть, что это механизм речи, который состоит в переносе имени с одного предмета на другой, который связан с данным по смежности, соположению, вовлеченности в одну ситуацию.

Метонимии свойствен ряд признаков, отличающих ее от метафоры. Укажем здесь на некоторые из них. Семантически метонимия характеризуется тем, что она представлена в языке непересекающимися классами единиц. Если в значении метафоры доминирует сходство, то в содержании метонимии, наоборот, соположение, смежность: «при метонимии заменяемое и заменяющее понятия не имеют общей семантической части. Иначе говоря, если в основу метафоры положено семическое пересечение двух

классов, то метонимия действует в области непересекающихся классов» (Дюбуа Ж., Эделин Ф. и др. *Общая риторика*. М., 1986. С. 215). Сравним метафоры *снежная постель* и *обильный стол*. В первом случае налицо пересечение исходного понятия «снег» и результирующего «постель», которое осуществляется через промежуточное понятие «мягкий», во втором — ассоциация непересекающихся исходного понятия «стол» и результирующего «обильный, богатый едой», которые не имеют промежуточного понятия, но сосуществуют в едином функциональном пространстве.

Другая семантическая особенность метонимических переносов, отмеченная Р. О. Якобсоном, это «проекции с оси обиходного контекста на ось субституции и селекции» (Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // *Теория метафоры*. М., 1990. С. 121), т. е. замены одних слов на другие в результате их определенного, целенаправленного выбора. В обычном употреблении, на оси обиходного употребления устанавливается узальная связь слов, отражающая смежность обозначаемых предметов: *вагон едет, вагон с пассажирами, пассажиры смеются (надсаживаются от смеха)* и т. д. Для реализации той или иной целевой установки, создания образа на «оси субституции и селекции» должен быть произведен выбор соответствующих слов и произведена замена одного из слов другим, связанным с первым по смежности, т. е. создано новое образное сочетание (конструкция) с нестандартной, окказиональной связью его компонентов: «Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха» (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев). Замена слова *пассажиры* на *вагон* экспрессивно подчеркивает всеобщность смеха, как бы передаваемого самому вагону, сотрясающего его.

Выбор и замена смежных по природе слов как семантическая особенность метонимии тесно связана с ее синтаксическими свойствами.

Прежде всего метонимия представляет собой свернутую конструкцию: *пассажиры вагона надсаживаются от смеха* → *вагон надсаживается от смеха*. Исходная, глубинная структура таких конструкций выглядит как полная: ср. *лицо сорокалетнего человека* и «Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу <...> Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалывшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками» (М. Булгаков. *Звездная пыль*), т. е. *лицо сорокалетнего человека* → *лицо сорокалетнее (человека)* → *сорокалетнее лицо*. Свертывание конструкции имеет своим результатом образный, эстетический эффект. В обычном языке

нельзя сказать *сорокалетнее лицо*, *сорокалетняя голова*, *рука* и т. п. Метонимически организованное существительное *лицо* представляет по своей природе свернутое сочетание с «колеблющейся» семантикой («лицо»/«человек»). Поэтому все метонимическое выражение *сорокалетнее лицо* двупланово, «двоится», предполагает его творческое восприятие.

Необходимо отметить и другое существенное синтаксическое свойство слова с метонимической структурой: его употребление преимущественно в позиции субъекта и других референтных членов предложения, например, дополнения. Н. Д. Арутюнова во вступительной статье к цитированному выше сборнику «Теория метафоры» (с. 31), говоря об этом свойстве метонимии, пишет: «Она не может быть употреблена в предикате. Метафора, напротив, в своей первичной функции прочно связана с позицией предиката».

Метонимия, действительно, свойственна идентифицирующая позиция субъекта. Это сдвиг в референции: предмет называется не своим именем, а «соположенным». Это либо смежное обозначение (*Вагон пел*), либо деталь (часть) предмета (*Я стою в очереди за той шляпой*). Такое название предмета, особенно в языке художественной литературы, требует творческой расшифровки, создавая определенный стилистический эффект: «Он [Александр Иванович Корейко.— А. Н.] вышел из тюрьмы через пять месяцев <...> Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием <...>

Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок); «Раиса Ивановна в ясенюхой красненькой кофточке разливает чай (мама спит: она встает к двенадцати), самовар трещит <...> папа — в форменном фраке: кудролобый, очкастый, захлебнул чай усами, светлоливая капелька капнула с его мокрых усов в синий бархатный отворот его синего чистого фрака» (А. Белый. Котик Летаев). Идентификация *оранжевые сапоги — Корейко, усы — рот* как образный сдвиг в референции подчеркивает в одном случае стремление замаскироваться, обезличиться, спрятаться за вещи, а в другом — небрежность «московского чудака» — профессора, его неловкость, большой размер усов, нависающих над ртом.

Однако утверждение о том, что метонимия не может употребляться в предикате, представляется слишком категоричным. Оно оставляет в стороне один важный тип метонимии, который не находит отражения ни в специальных исследованиях,

ни в учебниках, ни в учебных пособиях по лексикологии и стилистике.

Имеется в виду образное употребление метонимии при обозначении различного вида движения. Перемещение одного предмета может передаваться в художественном тексте как отражение по соположению в другом предмете, который изображается как движущийся, но на самом деле остается неподвижным. Вот несколько примеров из известного романа И. Ильфа и Е. Петрова: «Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искорки, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда» (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев); «Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику <...> Впереди, вправо по носу, уже скользили огоньки города Васюки» (там же); «Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната <...> Залы тянулись медленно. Им не было конца» (там же).

В приведенных примерах в состоянии движения находятся не семафоры, огоньки, залы: они статичны, а пассажиры и экскурсанты, с точки зрения которых предметы изображаются метонимически как движущиеся, «текущие» в пространстве и времени, т. е. в «обращенной перспективе». Движение одного предмета отражается не непосредственно, а как отраженное в другом, связанном с первым. Поэтому глаголы употребляются здесь в особом контекстуальном метонимическом значении: *проноситься* (о семафорах) значит «стоять рядом с *проносящимся* поездом», *скользить* (об огоньках города) — «находиться на берегу вблизи *плывущего, скользящего* по воде парохода» и т. п. Как видно, статическое положение образно передается как динамическое, подчеркивающее движение предмета — исходной точки зрения изображения, значения же глаголов метонимически трансформируются от исходного динамического до производного статического.

Глагольная (предикативная) метонимия выступает в языке художественной литературы как доминирующее средство изображения движения, динамики картины: «Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. *Сооружение отодвигалось* от горизонта, *приближалось, росло*, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись — перед ними была башня Коряжского вокзала со

шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны.

Вскоре вдоль дороги *потянулись* маленькие домики и унылые склады Коряжска» (В. Аксенов. Затоваренная бочкотара).

Рассматриваемый тип предикативной метонимии не ограничивается, конечно, одной-единственной функцией — образной передачей движения, динамики его развертывания. Он может лежать в основе тонких психологических зарисовок и характеристик героев. Таково, например, изображение состояния человека перед казнью у В. Набокова: «Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинциннат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но, почувствовав, что *они так и ходят мелкой дрожью*, а что какие-то люди внизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немного задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложил на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам» (В. Набоков. Приглашение на казнь). Психологическое состояние человека воспроизводится отраженно как дрожь перил и ощущается, осознается через последнюю.

В основе образной метонимической мены значений глаголов лежит соответствующая исходная структура (конструкция): [*перила неподвижны*] → *перила дрожат* (ходят мелкой дрожью), т. е. неподвижны в соприкосновении с дрожащими руками.

Внимание к глагольной (предикативной) метонимии позволит существенно расширить представление об этом типе полисемии и об одном изобразительном стилистическом средстве русского языка.



«Спросим внутреннее чувство народа...»

Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук

Переименование любой географической реалии вызывает постепенный переход в пассивный запас языка прежнего географического имени с его производными (прилагательным и словами-названиями жителей) и появление новой группы слов во главе с новым топонимом. Эта перемена привычного набора актуальных слов не проходит для современников безболезненно, особенно когда меняется название географической реалии национальной значимости (Тверь—Калинин—Тверь, Царицын—Сталинград—Волгоград, Нижний Новгород—Горький—Нижний Новгород, Хлынов—Вятка—Киров, Санкт-Петербург/Петербург—Петроград—Ленинград—Санкт-Петербург (Петербург)). Возврат городу его прежнего имени влечет за собой и возрождение его производных, но — не автоматически. Новое время предъявляет к ним свои требования.

Город Санкт-Петербург/Петербург как политико-географическая реалия и имя *Санкт-Петербург/Петербург* как слово — то

и другое было для современников новым. Название столицы не могло не породить — и породило — производные. По политическим мотивам город трижды менял свое название, его официальное имя обрело бытовые варианты (С. Петербург, Петербург, Питер), а некоторые производные от исторически начального имени до сих пор не получили своей окончательности. И причина последнего — в названии на *-бург*, данным городу его основателем.

За рубежом и с XVIII века в России существует немало ойконимов (названий городов) с топонимическим формантом *-бург* (Гамбург, Дуйсбург, Екатеринбург, Лимбург, Люнебург, Оренбург, Питтсбург, Шлиссельбург); ср. иноязычные ойконимы на *-берг* (Гейдельберг, Кенигсберг, Нюрнберг) и *-борг* (Выборг, Гетеборг). Как видим, император Петр, давая городу имя святого Петра (*Санкт-Петербург*), усложнил западноевропейский топонимический образец.

Все эти ойконимы в русском языке дают прилагательные с концевкой *-гский* (гамбургский и т. д.), а не *-жский*; в оттопонимических прилагательных последних столетий слабо работает историческое чередование: заднеязычный Г — шипящий Ж (ср. стародавние русские: *Волга — волжский*, *Буг — бужский*, *Пинега — пинежский* и под.).

Вернемся к имени *Санкт-Петербург/Петербург*. Его первоначальный «голландизированный» вариант *Санкт-Питербурх/Питербурх* порождал, естественно, и соответствующее прилагательное: «... в Санкт-Петербуржскую мою бытность...» (Л. Магницкий, 1716). Официальный *Санкт-Петербург* и неофициальный общепринятый *Петербург* мотивировали прилагательные *санктпетербургский* и *петербургский* (в неофициальном языке — обычно *петербургский*). И в источниках XVIII века, и у Пушкина (более 50 словоупотреблений), Гоголя, Белинского — только прилагательное на *-гский*. Эта одинарность в написании прилагательного, образованного от имени *Петербург*, закреплена и словарно: Орфографический словарь русского языка, 1956 — *петербургский*, 1974 — *петербургский*. Но тот же словарь в издании 1991 года дает две рекомендации: *петербургский* и *петербуржский* — новинка для лексикографии, но не для языка. Наконец-то, хотя и запоздало, на словарном уровне было отражено то, что сложилось в разговорной речи около полутора столетия тому назад: «— Человек он петербуржской с соображением...» (А. Потехин. Глава из романа. 1852); «Журналы получаем петербуржские исправно» (А. Герцен — И. С. Тургеневу. 18(6) декабря, 1857).

Разговорная форма *петербуржский* сложилась и «русифицировалась» благодаря широчайшей употребительности

прилагательного *петербургский* во всех слоях общества на широчайших российских просторах. «Разговорное» стремление к удобству произношения сказалось не только в мене Г на Ж, но и в упрощении финальной группы согласных: в устной речи бытовала и форма *петербургский*. Сегодня двойное прилагательное *петербургский/петербуржский* обслуживает разные сферы языка: первое — официальную, литературно-кодированную, вторая — устно-разговорную.

Более трудная ситуация сложилась в словах-названиях жителей. Ойконим *Петербург* породил целый пучок таких названий.

Ни многомиллионная картотека русской лексики Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (Петербург), ни специальный «Словарь названий жителей СССР» (1985) не зафиксировали слов-названий жителей Петербурга применительно в XVIII веке — при наличии прилагательного *петербургский*, появившегося вслед за рождением города. Позднее ни разу не употребил таких слов Пушкин — при хорошо знакомых ему словам *москвичи/москвич* (семикратное употребление). Приходится сделать вывод, что в XVIII веке петербургских обывателей, по видимому, никак не называли — ни они себя, ни жители других городов (москвичи, тверитяне, новгородцы, киевляне, пермяки и т. д.) их. Еще в середине XIX века видный филолог и грамматист К. С. Аксаков, перебрав все гипотетические названия жителей Петербурга, писал в растерянности: «Как произвести названия жителей, напр., от Петербурга? Спросим внутреннее чувство народа, — внутреннее чувство народа молчит. Чему следовать в таком случае? От слова *Париж* мы производим *парижанин*, но потому, что *Париж* уже обруселое слово... Слово же, оканчивающееся на *бург*, сохраняет весь свой иностранный характер... Что делать? *Петербуржанин* — все засмеются, *петербуржак* — еще смешнее. *Петербургец* или *петербуржец*, или *петербурец*, как употребляют, — точно так же чуждо и неловко, особенно в женском: *петербурка* или *петербуржка*, *петербуржич* — тоже смешно. Что делать? Как-то совестно к имени нерусскому прибавить русское окончание» (Несколько слов о нашем правописании. 1846). Аксаков реализовал самые активные образующие суффиксы, употребительные в русских словах-названиях жителей (*-анин/-янин*, *-ец*, *-ич*, *-ак/-як*) — и ни одно слово его не удовлетворило: привычные суффиксы плохо «приклеивались» к географическому имени, произведенному на нерусский манер. Возможно, в мнении Аксакова содержится ответ, почему в XVIII веке жителей Петербурга не называли ныне привычными названиями: было слишком «чуждо и неловко».

Эта чуждость и неловкость сохранялись еще в первой трети

XIX века. Но в 40-х годах потребность в наименовании столичных жителей преодолела это затянувшееся «чуждо и неловко» — к этому времени относятся первые известные нам примеры литературного бытования таких слов (помимо наблюдений Аксакова): «...мы, прозаические петербуржцы...» (В. Белинский. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души». 1842); «Какое вам дело, мои милые петербуржцы...» (А. Хомяков. Письмо в Петербург по поводу железной дороги. 1845).

Названия жителей на *-ец* образуются под структурным воздействием однокоренного оттопонимического прилагательного: «Дно—дновский—дновец; Кинешма—кинешемский—кинешемец; Москва—московский—московец» (см. Российская грамматика, 1802: «москвитянин, москвич и москонец»; Г. Павский. Филологические наблюдения, 1850: «новгородец, москонец»). Отсюда и естественная триада: *Петербург—петербургский—петербуржцы*.

В те же 40-е годы встречаем и форму мужского рода ед. ч., без которой, конечно, нельзя было обойтись. Форма мн. ч. *петербуржцы* помочь не могла — ее парный член *петербуржец* затруднителен в употреблении (хотя и возможен в косвенных падежах, откуда ее, по-видимому, гипотетически и вывел Аксаков). И тут в действие вступил исторический закон чередования Г—Ж. Уже у Белинского находим компромиссный выход: *петербуржцы*, но *петербуржец*: «Петербургец резко отличается от москвича» (Петербург и Москва, 1844). Форма ед. ч. *петербуржец*, в свою очередь, побудила сменить форму мн. ч. *петербуржцы* на *петербуржцы*. Не исключено также, что прилагательное *петербуржский* (50-е годы) появилось под воздействием слов *петербуржец/петербуржцы* (40-е годы). В середине XIX века слова *петербуржец/петербуржцы* становятся общеупотребительными, нормативными, а слово *петербуржцы* вышло из обихода за ненадобностью. Что касается имени *Санкт-Петербург*, то соответствующие названия его жителей *санкт-петербуржец/санкт-петербуржцы* использовались и используются редко, в каких-то случаях нейтрально: «Товарищи, которым я рассказал о прекрасной задумке санктпетербуржца...» (Вечерний Петербург. 1992. 22 янв.), а в каких-то — с особой, «подчеркнутой» целью: «— Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал — блестящий санктпетербуржец» (И. Одоевцева. На берегах Невы).

Эта запоздалость в появлении слов-названий жителей Петербурга прослеживается и на другом аналогичном примере. В XVIII веке в устной речи сложилось и неофициальное название города — *Питер* (от *Питербурх*): «Отпиши, Фалалешка, что у

вас в Питере делается» (Живописец, 1772), а вслед за ним — и прилагательное *питерский*: «... питерская родня отсоветовать не могла» (И. Маклаков — Г. Р. Державину, 20 октября, 1797). Общеизвестные же *питерец/питерцы* как название жителя/жителей Петербурга/Питера появились лет через сто (Н. Лесков, А. Чехов и др.).

Перебирая возможные варианты слов-названий жителей Петербурга, Аксаков упомянул и отверг форму *петербуржанин*. Однако в 10-х — 20-х годах нашего столетия получила права гражданства и она, но с особой целью — для подчеркивания истой «петербуржистости» кого-либо: «Но таково уж неискоренимое чувство провинциалов перед петербуржанами!» (В. Пяст. Встреча. 1929); «Вот я и выполнил долг ленинградца, петербуржанина, русского человека» (Б. Четвериков. Бессмертие). Слова *петербуржанин/петербуржане* сложились в среде гуманитарной интеллигенции. Тогда же появилась и женская форма (по аналогии с обычными производными от слов-названий жителей на *-анин/-янин*) — *петербуржанка*: «Изысканная петербуржанка, питомица когда-то модного акмеизма... она [А. Ахматова] таит под этой личиной чудеснейшую, простейшую, простонародную лирику» (М. Шагинян. Литературный дневник. 1928; то же в более позднее время: Т. Щепкина-Куперник. Театр в моей жизни; И. Эренбург. Люди, годы, жизнь).

Но *петербуржанка* — не единственное слово для обозначения жительницы Петербурга. Недавно на сцену выступило слово *петербуржка*, в словообразовательном отношении, казалось бы, закономерное образование от слов на *-ец* (*новгородец — новгородка, орловец — орловка* и под.). Но еще Аксаков отмечал, что *петербуржка* — особенно «чуждо и неловко» в употреблении. Причина тому, как думается, — отсутствие аналогов в русском словообразовании. Подобного производного от топонимов на *-бург* (а также *-борг* и *-берг*) в русском языке нет; нет даже нарицательных слов на *-уржка* (см. в «Обратном словаре русского языка»). Слову *петербуржка* невозможно опереться на словообразовательные традиции. Оно «чуждо и неловко», но эпизодически существует: «Она [княгиня Дашкова] попадает в семью патриархальную, рассматривающую ее, петербуржку, чуть ли не как иностранку» (Л. Лозинская. Президент двух академий); «Я коренная петербуржка. Да, да, именно петербуржка» (Невское время. 1990. 7 ноября). Если слово существует — значит, потребность в нем есть.

Наиболее употребительна сейчас женская патронимическая (от лат. *patria* «родина, отечество») форма *петербурженка*. Ее преимущество перед *петербуржанкой* — в сохранении места

ударения производящего слова. Эта форма возникла, как и две другие, в XX веке (она даже не пришла в голову Аксакову, как возможная): «Про дам на Дерibasовской говорить нечего: на все вкусы... Петербурженки — худые, рослые, англизированные» (А. Н. Толстой. Похождения Невзорова, или Ибикус. 1924); «Как-то мне довелось присутствовать при... споре о том, какая речь должна быть признана правильной на театре: московская или петербургская. Савина, петербурженка до мозга костей, разумеется, настаивала на петербургской» (А. Коонен. Страницы жизни). Слово *петербурженка* в русском языке (в отличие от слова *петербуржка*) неодинокое, оно имеет словообразовательные аналоги *Екатеринбург—екатеринбурженка*: «молодым екатеринбурженкам приходится выступать на два фронта» (Уральский рабочий. 1992. 29 дек.); *Пенза—пензенка*: «Конечно, мы русские, пензенка и смольнянка» (В. Розанов. Когда начальство ушло) и под. Будущее, по-видимому, за этой формой.

Упорядочение слов-названий жителей Петербурга, как видим, происходило в начале XX века, но переименование города (1924 г.) прервало этот процесс. Возвращение ему его исторически исконного названия побудило к активной жизни слова, образованные от *Петербург*. Борьба форм, не завершившаяся в прошлом, протекает на наших глазах.

Санкт-Петербург



Брокеры, дилеры и другие посредники

С. В. ПОДЧАСОВА

Три десятка лет назад историк языка Ю. С. Сорокин писал: «Изменения в стилистике языка и стилистике речи связаны с изменением в составе языкового коллектива, с изменением его социальной природы, с выдвижением внутри него новых влиятельных групп...» (Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е гг. XIX в. М.— Л., 1965. С. 21). В те годы эта мысль выглядела несколько отвлеченно и могла быть отнесена прежде всего к нашей истории. Теперь же она обрела конкретный и актуальный смысл.

В начале 90-х в газете «Культура» можно было прочитать характерную фразу: «С наступлением на страну рынка потребовались и новые люди, способные на совершенно иных принципах взять на себя действительно нелегкую ношу коммерсанта» (1991. 14 дек.). Приблизительно в это же время на страницах наших газет впервые появились такие объявления: «Приглашаем высококвалифицированных специалистов для работы в области *брокерской и дилерской деятельности*» (Культура. 1991. 14 дек.); «Обу-

чение профессиям *брокера, дилера*» (Веч. Москва. 1992. 7 апр.); «Если у вас есть возможность, мы заинтересованы в сбыте своей продукции с участием ваших *дилеров...*» (Независимая газета. 1992. 23 апр.).

Социолог отметил бы, что таким образом пресса зафиксировала начало формирования нового общественного слоя — коммерсантов, а в основной массе — посредников, одними из первых представителей которых стали у нас именно дилеры и брокеры. Мы же остановим внимание прежде всего на языковых явлениях и конкретно на том, что начавшееся в обществе «выдвижение новых влиятельных групп» вызвало появление в языке множества заимствований, и в первую очередь, слов, называющих представителей этих «групп».

Как известно, слова *коммерсант* и *посредник* длительное время были исключительно языковыми фактами. Их толкование можно было найти в 4-х томном Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой, но они отсутствовали как явления нашей действительности в Советском Энциклопедическом Словаре вплоть до издания 1989 г. Современное значение слова *коммерсант* — «лицо, занимающееся частной предпринимательской деятельностью» (Энциклопедический словарь бизнесмена. Менеджмент, маркетинг, информатика. Под ред. М. И. Молдованова. Киев, 1993. С. 301), а более узкого понятия *посредник* — «физическое или юридическое лицо, выполняющее роль связующего звена между сторонами, желающими заключить сделку...». Последнее толкование приведено в Словаре-справочнике предпринимателя «Деловой мир» (М., 1992. С. 168) и содержит важное для нас добавление: «Посреднические функции осуществляют *брокеры, дилеры, комиссионеры, консигнаторы, оптовые покупатели, промышленные агенты, торговые агенты...*». Длинный ряд перечислений, в который включены эти три слова (*брокер, дилер, консигнатор*), свидетельствует о том, что к настоящему времени произошла их четкая семантическая дифференциация. Процесс лексического размежевания в отношении слова *брокер* и *дилер* можно продемонстрировать с помощью выдержек из периодики последних лет.

Брокер. Дилер

В 1991 году все объяснялось предельно просто. А. Белянчев в статье «Моя знакомая — брокер» писал: «Чтобы объяснить, что такое профессия *брокера*, к помощи толковых словарей прибегать мне не пришлось. Это продавец оптового товара» (Культура. 1991. 14 дек.).

В следующем отрывке не только раскрывается смысл слова *брокер* (через функциональную характеристику), но и дается его стилистическая окраска того времени: «Пробить брешь в глухой обороне держателей продуктов, соблазнить их длинным рублем и призваны *брокеры*... Надуть того же председателя колхоза брокеру несложно. К примеру, договаривается продать колхозное зерно по 2 тыс. за тонну, а на торги выставляет по 2,5...» (Комс. правда. 1991. 28 дек.). Очевидно, что для автора *брокер* — посредник, зарегистрированный на бирже и занимающийся перепродажей.

Наконец, наиболее полное представление о значении слова *брокер* в ранний период функционирования этого заимствования в русской речи мы могли получить из словарной статьи, напечатанной в газете «Экономика и жизнь» (1991. № 5): «Брокер — 1) посредник между продавцом и покупателем ценных бумаг на бирже; 2) посредник, всесторонне знающий конъюнктуру рынка, возможности закупки и сбыта продукции, специализирующийся на довольно узком ассортименте товаров».

Важно отметить, что при всей объемности и фактической достоверности толкования оно не содержит ни одного (!) существенного признака, позволяющего отделить значение слова *брокер* от значений других членов синонимического ряда с родовым значением *посредник*, и прежде всего от слова *дилер*. Расценим этот факт как проявление недостаточной «усвоенности» заимствования *брокер* русским языком этого времени.

Кстати сказать, остаточные явления семантической дублетности понятий *брокер* и *дилер* встречаются и позже: «В Москве Сбербанк отобрал трех финансовых брокеров, на которых будут возложены функции по поддержанию ликвидности вторичного рынка акций Сбербанка... В число этих дилеров вошли Российский брокерский дом,... „Русский акционерный капитал“ и малоизвестная компания „Юнитраст“» (Коммерсант. 1993. 4—10 окт.).

Очевидно, взаимозаменяемость слов *брокер* — *дилер* вызвана тем, что автор данной статьи апеллирует прежде всего к тому значению, которое объединяет эти слова — «посредник при заключении сделок».

Последний пример интересен также и тем, что *брокеры* — *дилеры* в нем не физические лица, а крупные компании. Действительно, со временем практически во всех толкованиях понятий, принадлежащих к синонимическому ряду *посредники* появляется фраза «физические лица, фирмы или организации». В качестве примера приведем отрывки из словарных статей: «*брокер* — отдельный человек или специальная контора» (Катлинская Л. П. Из актуальной лексики//Русская речь. 1993.

№ 3); «дилер — физическое или юридическое лицо...» (Словарь-справочник предпринимателя «Деловой мир»).

Наконец, попробуем вычленить присутствующие в тех же толкованиях существенные, дифференциальные признаки слов *дилер* и *брокер*: *Брокер* — посредник, осуществляющий операции «за соответствующее вознаграждение, по поручению и за счет клиентов» (Л. П. Катлинская). *Дилер* же — «ведет операции от своего имени и за свой счет» (Энциклопедич. словарь бизнесмена). В свою очередь отметим, что объекты сделок не являются существенными признаками в данном случае. Ограничение деятельности дилеров куплей-продажей «ценных бумаг, валют, драгоценных металлов» (Современный словарь иностранных слов. М., 1992) не отвечает действительности. Приведем следующие примеры: «Самый крупный *дилер* фирмы распродает склад оборудования в Москве» (Веч. Москва. 1992. 24 июня); «Фирма ищет *дилеров* по оптовой продаже продуктов питания из Испании на территории России и стран СНГ» (Веч. Москва. 1993. 27 дек.).

Дифференциация по этому признаку (объект сделок) произошла уже внутри понятий *дилер* и *брокер*. Так, нами зафиксировано заимствование наименования инвестиционный дилер: «„Olbi-diplomat“ сообщает адреса и телефоны членов Синдиката *инвестиционных дилеров* по размещению акций общества» (Известия. 1994. 13 янв.).

Толкование термина *инвестиционный дилер* (англ. investment dealer) помещено в «Энциклопедическом словаре бизнесмена»: это «фирма, посредничающая на рынке ценных бумаг, или отдельное лицо, связанное с такой фирмой». Таким образом, объект сделок инвестиционного дилера — исключительно ценные бумаги.

Продолжение этой словарной статьи интересно тем, что наглядно демонстрирует выделенные нами выше черты сходства и различия профессий брокера и дилера: «Инвестиционный дилер выступает в роли брокера, то есть сводит на рынке покупателей с продавцами, получая за это комиссионные, или в роли дилера, то есть подписывается на весь новый выпуск ценных бумаг или часть его, становясь его собственником, с целью перепродажи более мелкими партиями».

Как продолжение «размежевания» дилеров по объектам сделок появились сочетания *валютный дилер* (английский эквивалент foreign exchange dealer «дилер, торгующий иностранной валютой»): «Система электронных валютных торгов избавила *валютных дилеров* банка от необходимости ездить в Екатеринбург» (Финансовые известия. 1994. 13—19 янв.); *автомобильный дилер* (англ. car dealer), правда, в данном случае имеется в виду американская реалия: «Каждые три-четыре минуты — минутный выпуск рек-

ламных объявлений местного банка, супермаркета, *автомобильного дилера* или страховой компании» (Америка. 1994. № 2).

Произошла дифференциация внутри понятий *дилер* и *брокер* и по другому признаку — членства/нечленства на бирже. Отметим, что если соответствующие англоязычные термины представляют собой прямую номинацию, не имеют стилистической маркировки, не являются метафоричными, то у нас положение иное. Сравните: в английском *inside broker* (буквально «внутренний» брокер) — член фондовой биржи; *outside broker* (буквально «внешний» брокер) — не член фондовой биржи, подпольный брокер, брокер черного рынка. В нашей терминсистеме антонимом выражения *официальный дилер* (член биржи) стало словосочетание *серый дилер*: «Будучи *официальным дилером* РАО „ЕЭС России“ на рынке ценных бумаг, РБД ввел в обращение опционы на покупку акций „ЕЭС России“» (Финансовая газета. 1994. № 8); «До сих пор за ввозившиеся из-за рубежа мелкими партиями автомобили „серые“ дилеры платили таможенную пошлину в среднем в 100 раз меньшую, чем официально импортирующие автомобили торговые фирмы» (Известия. 1994. 6 янв.).

«Цветовое» определение также выбрано для обозначения подпольного брокера — *черный брокер* (явно происходящего от сочетания *черный рынок*): «К сожалению, одной из наиболее распространенных сейчас болезней наших бирж являются так называемые „черные брокеры“, заключающие сделки с клиентами вне биржи» (Деловой мир. 1992. 25 марта).

Семантическая определенность слов *дилер* и *брокер*, а также активный процесс смыслового дробления этих понятий — все это служит доказательством достаточной степени усвоения их нашим языком. Кроме того, это подтверждается и деривационной активностью данных обозначений. Например: «*Гофброкер*» (старший брокер) открывает торги. Оживление в павильоне происходит, как только *гофброкер* выставил на продажу несколько партий строительных материалов» (Экономика и жизнь. 1991. № 5). Следующее однословное объявление — из газеты «Деловой мир» (1992. 5 ноября): «Броксервис».

В финансовый обиход вошло с недавнего времени производное от *дилер* слово *диллинг*, а также прилагательное *диллинговый*. В английском языке есть термин *dealing(s)* — деловые отношения, коммерческие сделки, торговые связи... (Англо-русский словарь по экономике и финансам).

Семантика слова *диллинг* в нашем языке пока недостаточно определена, если судить по контекстам, в которых оно используется. Однако, как сами контексты показывают, она уже английской и связана конкретно с дилерской деятельностью.

Сравните: «Мы поговорили с несколькими профессионалами рынка (работниками управлений валютного *диллинга* банков)» (Коммерсант. 1994. 1 февр.); «Внедряется *информационно-диллинговая* система, позволяющая дилеру, не выходя из офиса, работать в различных секторах денежного рынка» (Финансовая газета. 1994. № 8).

Завершая семантический анализ слов *брокер* и *дилер*, отметим их фразеологическую и сочетаемостную активность. При этом для слова *брокер* особенно характерны и устойчивы сочетания *брокерское место*, *брокерская деятельность*. Появляются собственные наименования: «*Российский брокерский дом*» и др. Более разнообразно окружение слова *дилер*. Помимо тех, которые находятся в приведенных выше примерах, встречаются сочетания со словами *отраслевой*, *региональный*, *уполномоченный*, *генеральный*, *самый крупный/дилер*. Существуют также устойчивые выражения: *дилерская сеть*, *дилерский канал*, *дилерская игра*; наименование *менеджер по дилерским операциям*.

Окончание следует

«Технологии» вошли в оборот

Е. В. КАРПИНСКАЯ

У многих читателей есть сомнения в правомерности употребления слова *технология* во множественном числе. Если обратиться к истории вопроса, то следует отметить, что в русском языке для целого ряда существительных не соблюдается стандартное грамматическое соотношение числа. Это касается некоторых вещественных существительных — *масло* — *масла*, *нефть* — *нефти*, — за которыми традиционная грамматика закрепляет, как правило, лишь одну форму числа, либо только единственную: *молоко*, *нефть*, либо только множественную: *осадки* (метеоролог). Появление соотносительных форм числа мотивируется семантически или стилистически. Терминология допускает употребление вещественных существительных во множественном числе, когда необходимо ввести обозначение, например, разновидностей, сорта вещества: *корма*, *мраморы*, *сахара*, *спирты*, *смолы*, *чай*, *табаки*. Развитие формы мн. числа у существительного, которое ранее употреблялось лишь в ед. числе, не противоречит грамматической системе, однако эти формы маркированы стилистически и сохраняют оттенок профессионального употребления.

Некоторые отвлеченные существительные также могут употребляться во множественном числе, приобретая при этом конкретное, предметное значение, или значение конкретного признака. В книге Л. К. Граудиной «Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты» (М., 1980) приводятся перечни слов с отвлеченным значением, получивших употребление именно в форме мн. числа, например: *вредности*, *данности*, *звучности*, *неоднородности*, *проницаемости*, *светимости*. Приведенные случаи словоупотребления свойственны преимущественно профессиональной речи, откуда широко распространились и на язык газет. В последнее время часто используются формы типа *режимы*, *инициативы*, *нажимы*, *неплатежи*, *гарантии*, *договоренности*, *противостояния*. Вот некоторые примеры такого употребления: «Сейчас, не зная полного содержания договоренностей, трудно давать им определенную оценку» (Правда. 1994. 4 февр.); «...ожесточенность *противостояний* зачастую инспирируется вла-

стью, безответственно экспериментирующей в самых „болевых“ сферах народного организма» (Москва. 1994. № 10); «Производственная компания „Русские технологии“ предлагает Вам верный путь быстрой окупаемости Ваших вложений и получение существенной прибыли» (АиФ. 1993. № 48).

Одно из первых мест по частотности употребления в форме мн. числа в настоящее время занимает слово *технология*. В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (М., 1992) дается такое определение этого слова: «Технология — совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства». Но в любом высокоразвитом индустриальном обществе существует множество отраслей производства, каждая из которых включает в себя множество таких совокупностей, т. е. различных технологий. И тут мы употребляем слово *технологии*, т. к. именно эта форма способна отразить всю множественность производственных методов и процессов, существующую в реальном мире.

Можно с уверенностью сказать, что понятие «новые технологии» лидирует в приоритете ценностей высокоразвитого общества. Поэтому и слово, выражающее это понятие, ежедневно присутствует на страницах газет и звучит в передачах электронных средств информации: «Граждане России... сами не платят — Минздрав рассчитывается за них, так как ввел оплату лечения по высоким медицинским *технологиям*» (Лит. газета. 1994. 26 янв.); «Альберт Гор — первый американский вице-президент, занимающийся не только политикой вообще, но и сферами сугубо конкретными — экологией, вопросами освоения космоса, влияния новых *технологий* на общество» (Лит. газета. 1993. 15 дек.).

На базе такого словоупотребления появились устойчивые, привычные для слуха словосочетания: *новейшие технологии*, *высокие технологии*, *наукоемкие технологии*. Все это говорит о закреплённости в языке первоначально непривычной даже для некоторых специалистов-технологов формы *технологии*.



Об одном источнике медицинских терминов

А. А., БЕЛОВА
М. М., ЕСЕЛЕВ
П. Г. СЦЕПУРО

В медицинской терминологии для обозначения некоторых человеческих органов и целого ряда заболеваний наряду с латинскими, греческими и другими иноязычными наименованиями часто используются термины различных социальных групп, профессий, многих видов человеческой деятельности. Эти названия, как правило, образны и лаконичны. Например, в анатомии: *уздечка языка, мышечное веретено, коленная чашечка, мозговой серп, наковальня и стремечко среднего уха.*

Термины, в которых использованы названия профессиональной или спортивной деятельности для обозначения заболеваний, можно разделить на две группы. В одной из них название профессии сочетается с наименованием пораженного органа, причем упоминается тот род занятий, при котором данное заболевание встречается наиболее часто; некоторые заболевания, описываемые терминами данной группы, могут быть отнесены к пограничным с профессиональными болезнями или являются истинно таковыми:

Стопа шахтера — нарушение нервной регуляции тонуса сосудов стоп, вызываемое вынужденной позой шахтера (длительное положение с согнутыми ногами, сочетающееся с местным охлаждением и высокой влажностью).

Грудь сапожника — наличие воронкообразного углубления в нижней трети грудины. Название связано с возможностью появ-

ления данной аномалии вследствие работы с детства с упором сапожной лапки в грудь.

Кожа крестьянина (моряка) — утолщенная с глубокими ромбовидными складками кожа на задней поверхности шеи у пожилых людей, длительное время работавших в неблагоприятных метеоусловиях.

Пятка полицейского — возникающее в результате травмы поражение апоневроза стопы в месте его прикрепления к пяточной кости.

Локоть игрока в гольф — воспаление в месте прикрепления мышц-сгибателей пальцев к плечевой кости.

Зад ткача — воспаление суставной сумки, возникающее и поддерживающееся давлением на нее седалищного бугра в положении сидя.

Колено горничной — воспаление суставных сумок коленного сустава, находящихся непосредственно перед и под коленной чашечкой.

Колено священника — воспаление суставной сумки под коленным суставом.

Локоть студента — воспаление суставной сумки, проявляющегося болью при опоре на локоть.

Легкое фермера; легкое работающего с грибами; легкое сборщика коры клена; легкое работающего с солодом, с перцем — эти названия связаны с аллергической реакцией ткани легких на грибки, встречающиеся в этих профессиях.

Голень теннисиста — состояние, характеризующееся болью при сгибании стопы, припухлостью в области икроножной мышцы, обусловленной разрывом мышечных волокон с кровоизлиянием в эту мышцу.

Локоть теннисиста — состояние, характеризующееся острой болью в локте при резких движениях. Заболевание возникает в результате систематически повторяющихся предельных по амплитуде движений рукой с разгибанием локтевого сустава и вращением предплечья. Мышцы, сгибающие и разгибающие предплечье и запястья, крепятся на небольшом участке плечевой кости. При многократных резких сгибаниях локтя возникает микротравма сухожилий в месте их прикрепления. Надкостница в этом месте воспаляется, что и вызывает сильную боль.

Вот как описывает свое состояние австралиец Род Лейвер, единственный из мужчин-теннисистов, сумевший дважды завоевать «Большой шлем» — приз одного из наиболее престижных первенств Австралии, Англии, Франции, США: «Я едва мог выпрямить руку. Если я играл больше часа — боль становилась ужасной. Во время матча лишь адреналин и воля к победе позволяли мне

играть, как всегда». Кроме спортивной травмы, причиной возникновения заболевания может послужить любое длительное выполнение одних и тех же движений под нагрузкой (например, кладка кирпича).

Вторую группу составляют термины, которые формируются сочетанием названия профессии и обозначения местных или генерализованных патологических процессов:

Растяжение наездника — боли, возникающие при сведении бедер.

Кифоз учеников-подмастерьев — поражение грудных позвонков, возникающее при работе в согнутом положении и проявляющееся изгибом грудного отдела позвоночника назад, а шейного и поясничного отделов вперед.

Переломовывих ныряльщиков — перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга, что происходит при ударе головой о дно водоема.

Стоматит курильщиков — хронический стоматит вследствие систематического воздействия никотина на слизистую рта.

Рак трубочистов — историческое название рака кожи.

Астма аптекарей — бронхиальная астма, вызванная профессиональными аллергенами.

Деменция боксеров — состояние, возникающее у боксеров в ходе многократных нокаутов. Проявляется снижением интеллекта, слабостью, повышением артериального давления, судорожными припадками и другими явлениями поражения головного мозга.

Артрит садовника — поражение суставов в результате ранения кожи шипами роз или другими растениями.

Болезнь легионеров — острое инфекционное заболевание, впервые зарегистрированное во время съезда членов Американского легиона, вызванное ранее неизвестным микроорганизмом, содержащимся в воде кондиционеров гостиницы, где жили легионеры.

Названия предметов профессиональной деятельности широко применяются для образования терминов, обозначающих симптомы различных заболеваний:

а) в связи со сходством по внешнему виду:

рука прачки — возникает при большой потере организмом жидкости и проявляется морщинистостью кожи кистей;

симптом вожжей — напряжение длинных мышц спины, выпячивающихся в виде двух натянутых шнуров; является признаком поражения грудных позвонков, расположенных выше участка напряжения мышц;

симптом кинжала — рентгенологический симптом сужения бронха при раке легкого;

симптом очков — темные круги вокруг глаз при большой потере жидкости или переломе основания черепа;

кисти в виде бутоньерки; в виде лорнетки — деформация кисти при ревматоидном артрите;

симптом наперстка — появление темных углублений на поверхности ногтей при псориазе (чешуйчатый лишай);

килевидная грудь — характеризуется уменьшением угла, образованного ребрами и грудиной, и увеличением продольного размера грудной клетки;

пяточная шпора — разрастание костной ткани на пяточной кости;

ногти-часовые стекла, пальцы в виде барабанных палочек — возникают из-за постоянной недостаточности кислорода в организме при хронических заболеваниях;

б) в связи со сходством между действием, связанным с использованием предмета, и действием, производимым человеком в результате заболевания:

симптом узды — при поражении отдела мозга, ответственного за координацию движений: человек не может поднести палец руки к носу, будто что-то препятствует ему;

симптом зубчатого колеса — при поражении одного из отделов мозга разгибание конечности происходит не плавно, а небольшими рывками;

симптом тугих перчаток, симптом корсета — при одном из заболеваний суставов движения нарушены до такой степени, что больной не в состоянии самостоятельно застегнуться, встать с постели;

симптом автобуса — при дерматомиозите мышечная слабость такова, что больному трудно встать с кресла, поднять ногу на ступеньку автобуса, взяться за поручень.

На рассмотренных примерах видно, что для образования терминов в медицине довольно широко используются названия профессий и предметов профессиональной деятельности.

С развитием науки, появлением новых специальностей и технологий, специфически влияющих на здоровье человека, появляются новые термины, среди которых:

синдром менеджера — форма неврастения, развивающаяся при выполнении работы, связанной с высокими нагрузками, большой ответственностью, конфликтами и эмоциональным напряжением;

компьютерный (конторский) синдром — вызывается воздействием на организм человека слабого радиационного излучения

компьютерных терминалов, проявляется головной болью, слезящимися глазами, повышенной усталостью и сонливостью.

В связи с тем, что все большее число людей пользуется компьютерами, приведем интересные данные о том, что хорошим противоядием против компьютерного синдрома являются кактусы. Их свойство снижать радиационный фон у видеотерминалов объясняют приспособленностью к выживанию в условиях повышенной радиации. В частности, они единственные представители растительного мира высокогорных плато в Мексике, подвергающихся интенсивному радиационному солнечному облучению.

*Саратовский государственный
медицинский университет*

ИЗ ИСТОРИИ ГРАММАТИКИ

О ГРАММАТИЧЕСКИХ СПОРАХ
ВОКРУГ ГОГОЛЯ

И. Б. СЕРЕБРЯНАЯ,
кандидат филологических наук

В 1842 году в журнале «Библиотека для чтения» был напечатан критический фельетон редактора и издателя этого журнала О. И. Сенковского, обвинявшего Гоголя в незнании русской грамматики. «Во всех славянских языках, какие я знаю,— писал Сенковский,— нос имеет в родительном падеже *носа*, а шум, ветер и дым имеют шуму, ветру, дыму: у него это наоборот!... он говорит *носу*, *ветра*, *шума*, *дыма*!... Право, странный филолог! думаете вы про себя» (Сенковский О. И. Собр. соч. в 19 т. СПб., 1858—59. Т. 2. С. 97).

Приведем контексты из «Мертвых душ», содержащие ошибочные, по мнению Сенковского, формы: «выщипнул вылезшие из *носу* два волоса» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 т. М., 1937—1952. Т. 6. С. 13. Далее ссылки на это издание); «Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума»; «картуз, чуть не слетевший *от ветра*» (6, 17); «стены, ...потемневшие *вверху от трубочного дыма*» (6, 9).

Напротив, В. Г. Белинскому эти примеры представляются совершенно правильными. В статье «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» он решительно возражает Сенковскому: «Я не знаю, да и знать не хочу, как в польском или другом славянском языке склоняются в родительном падеже слова: *нос*, *шум*, *ветер* и *дым*. Но, как природный русский, знаю достоверно, что слова эти в русском языке принимают в родительном падеже окончание равно и *а* и *у*, а когда которое именно, на это нет постоянного правила, но это слышит ухо природного русского, слышит и никогда не обманывается. Всякий русский скажет, как у Гоголя: „Волос, вылезший из *носу*“ и ни один русский не скажет: „Волос, вылезший из *носа*“. Точно так же должно говорить порывы *ветра*, а не порывы *ветру*» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13 т. М.—Л., 1953—1959. Т. 6. С. 354).

Было интересно проследить, как соотносились теоретические

рассуждения двух литераторов с их собственной языковой практикой. Выяснилось следующее. О. И. Сенковский, утверждавший, что распределение флексий *-а* и *-у* в русском языке четко регламентировано, и одни слова возможны лишь с окончанием *-а*, в то время как другие — с *-у*, использует формы на *-у* почти в два раза чаще, чем В. Г. Белинский. При этом параллельное употребление обоих окончаний у него встречается нечасто и довольно последовательно различается семантически и синтаксически (формы на *-у* связаны с обозначением количества, формы на *-а* употребительны при отсутствии количественного значения и нередко имеют при себе согласованное определение). Вот примеры:

«Возьми ты этот кусок *леденцу*» (3, 188), но — «высвобождая из вязкаго *леденца* свои зубы» (там же, с. 189); «превратят вселенную в *горсть пеплу*» (3, 414), но — «слетевшая с воздуха масса минерального *пепла*» (1, 188) и т. п. Напротив, Белинский употребляет формы на *-у* значительно реже, чем Сенковский, дублетных же форм в его произведениях гораздо больше, и используются они чаще всего недифференцированно. Относительно существительных *нос*, *шум*, *ветер* и *дым*, ставших предметом полемики, следует отметить, что в произведениях Белинского все эти слова выступают с вариантными флексиями *-а* и *-у*. И Сенковский, как оказывается, использует существительные *шум* и *дым* с параллельными окончаниями. А вот слово *ветер*, вопреки утверждению литератора об ошибочности формы *ветра*, имеет в его сочинениях лишь эту форму. Что же касается существительного *нос*, то здесь Сенковский верен себе: мы встречаем в его произведениях лишь форму *носа*. Как известно, пристрастие Сенковского к формам на *-у*, обусловленное, по-видимому, его польским происхождением и воспитанием, было подмечено Белинским: «...я уже слышу громкий хохот свидетелей ее бешеного *восторгу*, оттого, что в поэме нет никакого *размеру*, а может, и от смешной претензии пыхтящего *рецензенту*, преобразовать правописание *языку*..., которого *духу* он совсем не знает» (6, 353).

Каково же, однако, соотношение интересующих нас форм у Гоголя, по поводу которого и возник спор? Как сказались на употреблении Гоголем флексий *-а* и *-у* в родительном падеже его двуязычие, украинско-русский стиль его литературной системы?

Как известно, в украинском литературном языке формы родительного на *-у* так же, как и в русском, образуются преимущественно от вещественных, собирательных и отвлеченных существительных. Однако, распределение окончаний *-а* и *-у* подчиня-

ется здесь иным правилам: в отличие от русского языка, в украинском не действует принцип разграничения флексий *-а* и *-у* по количественно-выделительному признаку¹, отсутствует синтаксическая обусловленность данных форм, проявляется четкая лексико-семантическая дифференциация параллельных форм, когда от одних семантических разрядов слов возможно только *-а*, от других — лишь *-у*.

Анализ показывает, что в языке «Мертвых душ», вокруг которых велась полемика, формы родительного на *-а* и *-у* используются в соответствии с нормами русского литературного языка. Из 120 случаев употребления генитивных форм от существительных мужского рода окончания на *-у* отмечаются в 57 случаях, что составляет примерно 50 процентов от общего числа. Наиболее последовательно употребляются формы с окончанием *-у* от материально-вещественных существительных: *чаю, сахару, меду, воску, гороху, табаку, изюму* и пр. Однако эти же существительные могут иметь у Гоголя флексию *-а*: «чайный прибор с бутылкою рома» (6, 83); «на образец густого кофея» (6, 123).

У существительных с абстрактно-отвлеченным значением возможны в равной степени окончания *-у* и *-а* в родительном падеже. У Гоголя же в этих случаях нередки колебания, которые не всегда семантически обусловлены. Сравните: «много ли дает дохода» (6, 10), но: «сколько дает доходу трактир» (6, 62); «право, тресну со смеху» (6, 67), но: «я так и лопнул со смеха» (6, 172) и т. п.

Существительное *капитал* в количественном значении Гоголь использует с флексией *-у*: «двести тысяч капиталу», «по несколько тысяч капиталу», но при отсутствии количественной конкретизации появляется форма родительного на *-а*: «Но уже ни капитала... ничего не осталось ему» (6, 237).

Любопытен пример употребления вариантных форм в одном и том же контексте: «В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать, до такой степени дошла тонкость вкуса» (6, 163). В этом отрывке мы наблюдаем синтаксическую обусловленность форм на *-а* и на *-у*: *вкусу было пропасть* — здесь количественно-определяющее значение и потому — *вкусу*; *тонкость вкуса* — *у вкуса* имеется определение и потому — *-а*.

Интересные факты вариантности генитивных форм дает сопоставление основного текста «Мертвых душ» с другими редакциями произведения. К примеру, форме *роду* в основном тексте («ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву» — 6, 82) в рукописи поэмы, хранящейся в Библиотеке АН Украины в Киеве, соответствует: «вовсе не было такого

рода». Здесь же находим вариант разговора двух дам, в котором видим колебания *цвета* — *цвету*: «А глазки и лапки лилового *цвета*?— Нет, глазки пунцовые, а лапки *цвету* какого-то кака... Если бы глазки и лапки были одного *цвету*, это было бы лучше... Так уж лучше, чтобы [и] глазки и лапки были обоим лилового *цвета*...»

Форма *носу*, вызвавшая возражения Сенковского, сосуществует в «Мертвых душах» с формой *носа*: «выщипнул вылезшие из *носу* два волоска» (6, с. 13), но: «у него из *носа* выглянул весьма некартинно табак» (6, 123); «*носа* как будто не было вовсе» (6, 130).

Аналогично наблюдаемому в «Мертвых душах» распределение флексий *-а* и *-у* было характерно для Гоголя и в более ранние периоды его творчества. Так, в стихотворной поэме «Ганц Кюхельgarten» можно видеть выразительное варьирование форм *покою* — *покою* в соответствии с требованиями рифмы: «И покойники с *покою*/Страшной тянутся толпою» (1, 87); «Душа страдает, жалко *ноя*,/Ему теперь *не до покоя*» (1, 93).

В сборниках «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески» нередко встречаются формы на *-а* от материально-вещественных существительных: из чистого *сахара*; за неимением фузеи и *пороха*; схватил нитку *жемчуга*; на одеяле из синего *бархата*; из белого и черного *мрамора*; мне не дали *соуса*; и т. п.

В ряде случаев окончания *-а* и *-у* разграничиваются по количественно-определятельному признаку. Например: «Почуяли запах *пороха*» (2, 135), но: «Размешайте заряд *пороху* в чарке» (2, 81); «Бульба выкарабкался из-под *кирпича*» (2, 152), но: «по дорогам везут много *кирпичу* и камней» (там же).

Иногда семантически не обусловленные варианты встречаются в одном и том же контексте: «Тытаревский и Тymoшевский курень на запас с правого *бока* обоза! Щербиновский и Стебликовский верхний — с левого *боху*!» (2, 109).

Конечно, в «малороссийских» повестях Гоголя, описывающих быт и нравы Украины, формы родительного на *-у* в целях стилизации используются чаще, особенно при передаче речи персонажей. Так, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» читаем: *Всходу* нет; совсем не для *балу*; наделать *страму*; *без зову* является; заохал *от ушибу*; вместо *полу* потолок.

Немало подобных случаев и в «Миргороде»: до самого *заходу* солнечного; не даст *знаку*; после *пожару*. После *разговору* с вами.

Как известно, подготовку рукописи «Миргорода» к печати выполнял по просьбе Гоголя Н. Я. Прокопович, внесший в текст большое количество стилистических и грамматических исправ-

лений. Только к тексту «Тараса Бульбы» им было сделано свыше 600 поправок. Так, например, Прокопович регулярно заменяет флексию *-а* на *-у* в формах материально-вещественных существительных: Возьмите этого *соуса* (2, 22) — *соусу* (Варианты. С. 467); схватил ... нитку *жемчуга* (2, 113) — *жемчугу* (С. 516) и др. Форма *народа* (куча *народа*) заменяется им на *народу* (с. 484); генитивные формы *слуха* (несколько лет о нем не бывало *слуха*), *вечера* (того же самого *вечера*) — на *слуху* (с. 480) и *вечеру* (с. 549).

С другой стороны, производится методичное исправление *-у* на *-а* в гоголевских украинизмах типа *разговору*, *роду*, *пожару*, *напору*, *заходу*, *знаку*: *после разговора* (с. 589), *древнего рода* (с. 518), *после пожара* (с. 537), не выдержали *напора* (с. 533) и т. п.

Внимательный Прокопович, заметив явную грамматическую неправильность Гоголя: форму родительного *просу* от существительного среднего рода («в награду получали они... *мешок просу*»), исправил *-у* на *-а* — *проса* (с. 175—543).

Впрочем, не всегда легко понять, чем руководствовался в своих заменах редактор «Миргорода». Так, во фразе из «Тараса Бульбы»: «Ни крика, ни стону не было слышно», он исправляет *крика* на *крику*, *стону* — на *стона*.

Тем не менее подобные литературно-языковые факты представляют немалый интерес для исследований по ортологии XIX века, особенно если учесть, что Н. Я. Прокоповича, по профессии преподавателя русской словесности, современники ценили как одного из лучших знатоков грамматики русского языка.

Казань



ИСТОКИ И ЗАГАДКИ НАШЕЙ АЗБУКИ

*Л. В. САВЕЛЬЕВА,
доктор филологических наук*

Старинную славянскую азбуку у нас сейчас знают немногие. Однако в дореволюционной России обучение грамоте начиналось с усвоения алфавита, в котором каждая буква имела свое традиционно-книжное, точнее старославянское, название. Например, выдержавшая множество изданий знаменитая «Новая азбука» Л. Толстого начиналась с упорядоченного перечня русских букв с их старинными названиями: *азъ* (а), *буки* (б), *вѣди* (в), *глаголь* (г), *добро* (д), *есть* (е), *живѣте* (ж), *земля* (з), *иже* (и), *и* (і), *како* (к), *люди* (л), *мыслете* (м), *нашъ* (н), *онъ* (о), *покой* (п), *рцы* (р), *слово* (с), *твердо* (т), *у* (у), *фертъ* (ф), *хѣръ* (х), *цы* (ц), *червь* (ч), *ша* (ш), *ща* (щ), *ерь* (ъ), *еры* (ы), *ерь* (ь), *ять* (ѣ), *іо* (ё), *э* (э), *ю* (ю), *я* (я), *фита* (Ѡ), *ижица* (Ѳ).

Этот буквенный именник, как известно, породивший само

слово *азбука*, еще более важен при обучении церковнославянскому языку, который был обязательным в начальной школе. Именно азбука приобщала детей к письменной культуре, а значит, и к наукам.

Множество русских фразеологизмов о грамоте и грамотности возникло на основе древних славянских наименований этих «атомов» нашей письменной культуры: *познать азы* (науки, ремесла); *от аза до ижицы*; *не знать ни аза*; *дойти до ижицы* (то есть кончить); *знать на ять* (как обозначение высшей степени знания, поскольку употребление *е* и *ять* регламентировалось очень сложными орфографическими правилами); *писать корову через ять* (как выражение крайней безграмотности) и т. д.

Названия букв органически вошли в русскую речевую культуру как всем известные образы-символы, стали неотъемлемой частью русского фольклора.

Особенно неистощимы на выдумку были, конечно, школяры: *аз* — аляшки, *буки* — букашки, *веди* — вядяшки, *глаголь* — голяшки. О буквах рассуждали, как о своих однокашниках: *Ер* (ъ) да *еры* (ы) сбежали с горы (объяснение, почему слова не начинаются с этих букв); *Буки боднут, а веди обманут; Иже и како не обманут никак*. Школярных грамотеев, «дошлых писак», дразнили *фитою*. Последние буквы в алфавите символизировали долгожданный конец занятий, а потому шутливо приветствовались: *Кси, пси с фитою пахнули сытою* или же, наоборот, вызывали кое-какие опасения: *фита да ижица — к ленивому плеть ближится*. Довольно редкое школярское присловье записано А. С. Пушкиным среди других подобных пословиц: *Иже не зри же, его же не пригоже* (Полн. собр.: в 10 т. М.—Л., 1949. Т. VII. С. 533). Но особенно много пословиц у В. И. Даля в его знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка», который буквально насыщен ими чуть ли не на каждую букву: *Аз, буки, веди страшат что медведи; Сперва аз да буки, а там и науки; Не суйся, ижица, поперед аза; Все люди как люди, а мы как мыслете* и т. д.

Графическое изображение букв давало толчок многочисленным образным ассоциациям, порождая очень выразительную идиоматику: *Он на глаголь лезет* (то есть на виселицу); *Смотреть глаголем* (то есть крючком, ябедником, сутягой); *Держится фертом* (то есть франтом, шеголем); *Прописным азом ноги растопырил; Выписывать ногами мыслете* (то есть быть пьяным); *Расползаться врозь, как живете; Прописать ижицу* (то есть выпороть, поскольку начертание *ижицы* напоминало розги). Эти книжные по своим истокам выражения проникали и в народно-поэтические жанры: *Там я барыней пройдуся, фертом в боки*

подопруся, так интерпретировались дерзкие планы Наполеона в отношении Москвы в народной песне (Даль. Ук. соч. Т. IV. С. 533).

Меткий народный юмор широко использовал буквенные названия как живописные краски словесного портрета: *У нее ротик финою. Носик глаголем* (то есть крючком), *губки оником* (оник — уменьшительное от он). *Ручки фертом, ножки хером. Сам оником, ручки фертом. Брюшко оником, ножки прописным азом.*

Буквенные названия, безусловно, затрудняли самый начальный этап обучения, так как после их заучивания предстояло составлять слоги (или, как их называли, склады) из первых звуков соответствующих названий букв: *буки, аз — ба; наш, он — но; веди, есть — ве; люди, ижи — ли* и т. д. После слогов в две буквы шли в три — гла, тра, зве и т. д. Только выучив всю азбуку и пройдя все слоги, школьник переходил к чтению первого связного текста. Эти сложности запечатлены в горько-иронических шутках школяров над слогами:

Твердо, он — то́, да и то́ заперто́; Глаголь, аз — глаз; покой, аз — показ; Кабы не буки — еры, да не люди, аз — ла́, далеко бы увезла.

Задачи прагматической целесообразности начального обучения, а также согласие с общеевропейской фонетической традицией привели к отказу от старинных «говорящих» славянских наименований букв.

Однако следует иметь в виду, что исконный именник первоэлементов нашей письменности имел глубокий историко-культурный смысл. Принимая во внимание конкретно-исторические обстоятельства возникновения славянской азбуки и тот факт, что просветительская деятельность создателя славянской письменности Константина Философа (в монашестве Кирилла) была всецело подчинена гуманистической миссии приобщения славян к христианству, можно приблизиться и к пониманию принципа буквенных обозначений древнейшей славянской азбуки.

Конечно, более чем за одиннадцать веков пользования азбукой исходный смысл большинства названий букв сильно поблек или затемнился. Однако нельзя не заметить, что в ключевых словах азбуки (наименованиях предметного характера) легко узнаются привычные, традиционные символы христианской культуры, представляющие «вечные истины»: *добро, покой, земля, слово.*

Между тем названия славянских букв очень многим казались произвольными, случайными, лишенными малейшей внутренней связи друг с другом.

Загадка названий букв, на наш взгляд, может раскрыться при более пристальном изучении древнейшей славянской азбуки —

глаголицы, поскольку в настоящее время именно она признается исторической славистикой творением Кирилла. Именно для причудливых глаголических знаков (заметим при этом, начинавшихся с креста) придумал он эти названия, которые потом перешли в азбуку, именуемую впоследствии «кириллицей» и позаимствовавшую у глаголицы соотношение звуковых типов и начертательных знаков.

В новое время круг фактов, связанных с возникновением славянского письма, значительно расширился и наметился некоторый перелом в отношении исходного смысла азбуки. Так, предметом активного исследовательского интереса стали многочисленные списки популярной в Болгарии и на Руси Азбучной молитвы, в которой каждый стих начинался буквой в азбучном порядке. В работах известного болгарского филолога Э. Георгиева была выдвинута гипотеза, согласно которой традиционный азбучный именник — это разрушенный акростих Азбучной молитвы IX века, принадлежащей перу первоучителя славян Кирилла, причем особый тип акростиха, в котором вертикально читаются не начальные буквы, а начальные слова (Георгиев Е. Кирил и Методий — основоположники на славянските литератури. София, 1956. С. 124). Аналогичного мнения, хотя и с некоторыми уточнениями, придерживались выдающийся языковед Н. С. Трубецкой и чешский исследователь Ф. Мареш (Trubetskoy N. S. *Altkirchenslavische Grammatik*. Wien, 1954. S. 18; Mareš F. V. *Azbučna báseň z rukopisu státní veřejné knihovny Saľtykova-Sčedrina v Leninřradě* [Sign. QI 1202]//Slovo, 14. Zagreb, 1964. S. 5—19).

Однако эта распространенная в настоящее время гипотеза, проникшая и в некоторые пособия по старославянскому языку, вызывает определенные размышления, которыми мы хотим поделиться с читателями «Русской речи».

Во-первых, предполагаемая вторичность названий букв по отношению к целому, т. е. Азбучной молитве, означает, что автор глаголической азбуки, построивший основную ее часть в порядке греческого алфавита и отвергнувший греческие наименования, изначально не предусматривал славянских названий, положившись на более или менее случайные начала отдельных стихов своей молитвы.

Во-вторых, авторы, которые специально изучали списки (их свыше семидесяти) и редакции дошедшей до нас Азбучной молитвы, пришли к единому и хорошо аргументированному выводу о том, что она написана позднее периода деятельности солунских братьев (Кирилла и Мефодия), принадлежит перу их ученика и последователя пресвитера Преславского (Болгарского), Кон-

стантина (Зыков Э. Г. Судьба Азбучной молитвы в древнерусской письменности//Труды ОДРЛ. 1971. Т. XXVI. С. 177—191; Куев К. М. Азбучна молитва в славянските литератури. София, 1974. С. 32—33). Таким образом, если и существовала когда-то Азбучная молитва первоучителя славян Кирилла, то она не дошла до нас, и поэтому нельзя одно неизвестное (принцип и смысл азбучных наименований) объяснять через другое неизвестное (предполагаемую молитву).

В-третьих, понимание названий букв как остатков акростиха не удовлетворяет и потому, что если не исключает, то оставляет в тени их текстообразующую роль, которая, как нам представляется, может быть доказана несомненной грамматической и лексической сочетаемостью омонимичных слов старославянского языка.

В пользу единого закодированного азбукой текста свидетельствуют следующие аргументы грамматического характера: 1 — наличие в перечне буквенных имен глаголицы не только существительных как обычных предметных наименований, но и других частей речи: глаголов — *веде*, *глаголи*, *естъ*, *живете*, *мыслите*, *рьци*, местоимений — *азъ*, *наш*, *онъ*, наречий — *зело*, *како*, прилагательных — *тврѣдо*, союзов — *и*, *иже* — подобно тому, как это бывает в связном речевом потоке; 2 — отбор глагольных форм не в отвлеченном неопределенном наклонении, а в основном — в повелительном наклонении второго лица: *глаголи* — от *глаголати*, *живете* — от *жити*, *мыслите* — от *мыслити*, *рьци* — от *решти*, — что свидетельствует о проповедническом и образовательном смысле азбуки; 3 — сочетание рядом расположенных слов по законам синтаксиса «словенского языка» IX века: согласование в роде и числе — *нашь он покои*, *слово тврѣдо*, аналогично *ук фьрт* (см. далее); закономерности употребления числовых форм — *людие мыслите*, *живете ... земля* (слово *земля* в собирательном значении, как и другие слова типа *стража*, *стадо*, *народ*, в старославянском языке не без влияния греческого чаще имели смысловое согласование с формой множественного числа); закономерное употребление личных форм глагола при подлежащем — *добро есть*, *аз.. веде*.

Чтобы убедиться в лексической сочетаемости азбучных наименований, рассмотрим более подробно значения соответствующих слов старославянского языка. Кроме общеизвестных слов и форм, в азбучном тексте встречаются слова с малоизвестными значениями, точнее не совсем понятные современному читателю, нуждающиеся в этимологизации.

Зело — не только «сильно», «очень», но и «совершенно», «в

высшей степени», «хорошо». Например: *зело веде* «хорошо осознаю» (Григорий Назианзин. XI в.).

Земля — не только «противоположение небу», но и «мир». Например: *Поите Господа вся земля* (Григорий Назианзин. XI в.).

Иже — употреблялось как противительный союз: *Творити иже то княжения ради и власти* (Послание митрополита Никифора. XII в.).

Онъ (оный) — указательное местоимение со значением «тот, противоположный», «потусторонний», «загробный»: *с сего света на он свет; А не буди ему от Бога мира узрети на оном свете души его* (Грамота Владимира Мономаха. 1096 г.);

Укъ — «научение», «наука»: *Не укьмь человеком, Божиюю благодатию очищаема недугы человеческы* (Минея. 1097 г.).

Фръть (или *фертъ*, по некоторым источникам). Первоначальное значение наименования буквы пока не установлено. Существует версия, принадлежащая М. Фасмеру, согласно которой русское *фертъ* — славянское название ономатопоэтического происхождения (Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка*. М., 1964. Т. IV. С. 190). Мы представляем другую версию: поскольку славянской речи звук [ф] был чужд, и соответствующая буква нужна была только для передачи фонетики заимствованных (прежде всего, из греческого) слов, то естественно будет искать именно греческий источник наименования. Мы связываем славянский *фертъ* с греческим *φερτός* (отглагольное прилагательное пассивно-страдательного значения) от глагола *φέρω* с широкой семантикой, в том числе «избирать», «направлять» (Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 1719). Таким образом, наиболее точно этимологическое значение славянского слова *фертъ* следует определить как «избиратель», «избирательен», при этом греческому отглагольному прилагательному Кирилл дал славянское окончание мужского рода единственного числа для согласования с *укъ*.

Херь — название буквы представляет собой сокращение слова *херувимъ* (*херовимъ*), заимствованного из греческого языка (Фасмер. *Ук. соч.* Т. IV. С. 233). К аргументации такой этимологии добавим удивительное постоянство всех списков Азбучной молитвы Константина Преславского, в которых стих на букву *х* всегда начинается этим корнем. В христианской традиции *херувим* — ангельский чин, с которым связано местопребывание и воспевание «Славы Божией»; вечный дух, созданный творцом, чтобы охранять путь к «древу жизни». В контексте всей христианской культуры *херувим* — символ идеального, духовного начала, подобно тому,

как червь — символ самого ничтожного творения Создателя, а также бренности всего плотского, земного.

Отъ — название буквы, омонимичное предлогу *отъ* со значением удаления, лишения, избавления (ср.: *избавить от вечных мук, искуплены отъ суетнаго жития*).

Пе — загадочная буква глаголицы, которая, хотя и зафиксирована в азбучных перечнях (например, в знаменитом сочинении «О письменах» черноризца Храбра), не отмечена в старославянских текстах. С высокой степенью гипотетичности можно предположить здесь сокращение словоформы *печали*, что обозначает родительный падеж от «забота», «мирская печаль». Обычно считают, что эта буква передавала славянскую замену звука [ф] в заимствованных словах, Азбучная молитва в большинстве своих списков начинается 26-й стих словом *печаль*: *Печаль мою на радость преложи* (Азбучная молитва Константина Болгарского//Записки Русской академической группы в США. New York, 1988. Т. XXI. С. 298). Сравним термин аскетики *беспечалие* — «отрешение от мирских забот» (Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы//Славяноведение. 1992. № 5. С. 99).

Ци — могло иметь значение разделительного союза «или», «либо». Сравним афоризм из «Пчелы»: *Что стонеши, завистьливый: о своеи напасти ци ли о чюже(м) блазе*.

Итак, при обозначении букв славянской азбуки использованы следующие слова и словосочетания: я — письмо (грамота) — осознаю (познаю) — говори — добро (благо) — есть (существует) — живи — совершенно (в высшей степени) — земля (мир, земляне) — но (а) — как — люди (дети человеческие) — мыслите (размышляйте) — наш — оныи (потусторонний, неземной, загробный) — покой (успокоение, прибежище) — скажи — слово (речь, заповедь) — твердое (верное, непреложное) — научение (образ мыслей) — избираем (о) — херувим — от — печали (заботы мирской)? — или — червь.

В переводе на современный язык голос первоучителя славян, заложенный в азбуку, звучит так:

Я письмо познаю. Говори: добро существует!

Живи совершенно, земля! Но как (же)?

Люди, размышляйте! У нас потустороннее прибежище.

Скажи слово непреложное. Научение избирательно:

Херувим (отрешением мирской печали?) или червь.

Характерно, что начало азбуки — понятие «я». Азь («я») выступает как субъект познания и самосознания, как ценностная точка пересечения различных символических построений. Вся

дальнейшая синтагматическая цепочка смыслов, заканчивающаяся словом *чрьвь*, говорит о том, что духовная жизнь человека соотносится с ценностями, эталонами и символами христианской культуры. Создатель азбуки очерчивает концептуальную модель мира, обозначая в сгущенных образах сакральной поэтики полюсы макрокосма (*земля — Онъ покой*) и микрокосма (*херувимъ — чрьвь*). В точке пересечения этих осей координат (первой, внешней по отношению к человеку, и второй, символизирующей внутреннюю жизнь человеческой души) и вместе с тем в центре очерченной модели мира стоит свободный в своем выборе *азъ*. Обучение грамоте представлено Константином Философом (Кириллом) как отправной шаг в сущностном познании мира.

Таким образом, наш традиционный буквенный именованник отнюдь не представляет собой всего лишь случайного скопления взятых наугад слов с нужным начальным звуком. В азбучном «прологе» к чтению и письму заложена идеологическая, социокультурная установка, направляющая познавательную деятельность человека в соответствии с нравственными ориентирами христианского вероучения.

Возрождение исторических корней нашей памяти должно привести к тому, что хотя бы через одиннадцать веков нами было услышано «напутное слово» величайшего болгарского ученого, философа, просветителя и миссионера, подвижническую жизнь которого венчает создание славянской письменности.

Петрозаводск



«Воинские формулы» в «Казанской истории»

Н. В. ТРОФИМОВА,
кандидат филологических наук

В Древней Руси воинская повесть — один из самых распространенных литературных жанров — имела свою особую структуру, сложившуюся систему образов, специфические средства изображения. Исследователи назвали их *формулами воинского повествования*, поскольку каждый из этих стилистических оборотов кратко, образно обозначал определенные моменты битвы, вызывая у читателей устойчивые ассоциации (Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Избр. работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 344—369; Прохазка Е. А. О роли «общих мест» в определении жанра древнерусских воинских повестей. Тр. Отдела древнерусской литературы. Л., 1989. Т. 42. С. 228—241). Формулы переходили из одной воинской повести в другую, очень мало изменяясь, примерно до середины XV века. Но уже в «Повести о взятии Царьграда турками», написанной Нестором-Искандером во второй половине XV века, они встречаются в риторически приукрашенном, распространенном виде.

Ко 2-й половине, но уже XVI века относится «Казанская история», рассказывающая о длительном периоде существования и взаимоотношении двух государств: Руси и Казанского ханства. «История» имеет сложную жанровую структуру. Названная в части списков «Казанским летописцем», она не является

летописью, хотя удерживает в себе некоторые черты этого жанра. В другой группе списков именуется «сказанием», хотя имеет довольно незначительную легендарную часть, но сохраняет следы фольклорных сказаний. Наконец, еще одно название — «История» — говорит о связи этого произведения с жанром исторической повести, а поскольку речь идет в первую очередь о войнах, то с воинской повестью. Действительно, элементы этого традиционного жанра встречаются в «Казанской истории» на всем ее протяжении, а повествование о походах Ивана IV на Казань в 1550 и 1552 году по сути представляет собой две пространные воинские повести. Соответственно в произведении встречаем и воинские формулы, но обличие их уже новое, отвечающее общему стилю памятника и в целом художественной культуре середины XVI века.

Первый набор воинских формул находим в описании поражения русских войск, связанном в основном не с самим сражением, а со страшным зрелищем на поле битвы под Казанью в 1508 году: «... и поядоша их всех мечем, толикое множество, *аки клас*, юношь молодых и средовечных мужей. И покрыся лице земли трупием человеческим, поле Арьское и Царев луг кровию очервленишася < ... > Волга утопшими людми загрязе, и езеро Кабан, и обе реки, Казань и Булак, наполнишася побитыми телесы христианскими и течаства по 3 дни кровию, сверж людей, *аки по мосту*, ездити и ходити казаньцем» (Казанская история. М.-Л., 1954. С. 62. В цитатах мной подчеркнуты воинские формулы, использованные в традиционном виде.— Н. Т.) В приведенном отрывке два сравнения, обычно использовавшиеся в описании битв: погибающих воинов — со срезанными колосьями и мертвых тел — с мостом для победителей. Но эти формулы не исчерпывают всего, что хотел сказать автор, как это было в воинских повестях предшествующего времени, а составляют часть конкретного, можно даже сказать, географически детального описания. И поэтому они здесь уже представляют собой не формулы, а, скорее, просто художественные сравнения. Второе из них, стилистически точно воспроизводя традиционную формулу, в то же время по контексту не совпадает с традиционным, использовавшимся в описании осад городов, где трупы погибших врагов служили победителям «мостом и лестницей» ко граду (см., например, Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей. М., 1902). В «Казанской истории» это сравнение приобретает в иной ситуации более образный характер: через кровавые реки казанцы ходят и ездят по мосту из тел погибших русских воинов. Образ рек, текущих три дня кровью, по-видимому, представляет собой перифразу еще одной воинской формулы, измененной автором: кровь во время боя

течет, как река сильная. Здесь снята традиционная форма сравнения, и создана реальная и зримая до боли картина: воды Казани и Булака окрашены кровью. Заметим, что этот мотив крови появился уже раньше: «поле Арьское и Царев луг кровию очервленишася», причем сочетание носит намеренно усиленный характер, создающийся с помощью тавтологии цвета: кровь красная, и глагол *очервленишася* означает не просто «окрасился», а «окрасился в красный цвет».

Таким образом, в рассмотренном описании мы сталкиваемся с интересным явлением, где воинские формулы теряют свою суть в качестве именно формул: они либо включены в обширное детальное описание, либо используются в ситуации, не соответствующей традиционной, либо применяются в виде, не повторяющем грамматические формы традиционных формул, либо соединяются и варьируются, усиливая изобразительно-выразительные свойства текста.

Еще одну воинскую формулу встречаем в описании прихода Ивана IV под Казань: «И облегоша воя руская град Казань, и бе видети многия силы, аки море волнующися около Казани или вешная великая вода по лугом разлися» (Казанская история. С. 127). Сравнение войска с морем традиционно. Но автор «Казанской истории», во-первых, приводит не один, а два сходных образа *море* и *вешние воды*, а во-вторых, превращает образ из статического (описание силы многолюдного войска) в динамический, подчеркивая с помощью глагольных форм *волнующися* и *разлися* мотив движения этой могучей силы.

Интересное преобразование традиционной воинской формулы *один бьется с тысячей, а два — с тьмою* есть в одном из эпизодов осады Казани: «И бияхуся с русью, выезжая по 7 дней, и не хотяще им дати ко граду приступов чинити,— рустей же силе велицей сущей всегда прогоняху во град, бьюще казанцев, *един бо казанец бияшеся со сто русинов, и два же со двема сты*,— ждущи к себе на помощь нагайския силы, и не возмогоса казанцы еже не дати руси ко граду приступити» (Там же. С. 131). Первое, на что следует обратить внимание,— образ, традиционно относимый к русским воинам, применен к врагам — казанцам. К тому же оказывается, что и назначение его совсем иное: если традиционная формула подчеркивает доблесть русских воинов, сражающихся с тысячами врагов (*тьма* — десять тысяч) и побеждающих малыми силами, то в «Казанской истории» этот образ должен, напротив, подчеркнуть, что русских воинов много и казанцы не могут им противостоять. Отсюда изменение и самой формулы: вместо гиперболического *один бьется с тысячью, два*

с тьмою — гораздо более скромно и рационально *один* — *с сотней*, *два* — *с двумя сотнями*.

Еще одна картина, содержащая воинские формулы, — битва у стен города во время осады Казани: «И от пушешного и от пищалного гряновения, и ото многооружнаго скрежетания и звяцания, и от плача и рыдания градских людей, и жен и детей, и от великаго крычания, и вопля, и свистания ото обоих вои, и ржания и топота конскаго, яко велий гром и страшен зук далече на русских пределех, за 300 верст, слышашеся. И не бы ту слышати лзе, что друг со другом глаголет, и дымный мрак zelный восхожаще вверх и покрываше град и руская воя вся, и ночь яко ясный день просвещашеся от огня, и невидима быша тма ночная, и день летний яко темная ночь осенная бываше от дымнаго воскурения и мрака» (Там же. С. 136). В основе этой пространной картины две воинские формулы *шум оружия не дает воинам слышать друг друга, они не видят друг друга из-за блеска оружия*, традиционно передававшие напряжение битвы. В приведенном фрагменте они «затерялись» в описании, которое само по себе носит обобщенный, «формульный» характер, поскольку изображает не одну какую-либо битву, а сорокадневный, как указывает автор, бой у стен города. Отсюда кажущаяся несообразной на первый взгляд деталь: тьма ночная освещена огнем, как летний день, а летний день от дыма похож на ночь. Если иметь в виду обобщенность описания, эта деталь становится понятной.

В то же время описание, ранее укладывавшееся в две формулы, разрастается благодаря крайней детализации: автор перечисляет все многообразные звуки, сопровождающие бой, причем для усиления впечатления часто использует слова, близкие по смыслу, тавтологией акцентирующие эмоциональность описания — *плач и рыдания, кричание и вопль*. Автор использует и риторический прием, и синтаксические конструкции, придающие описанию ритмичность. Благодаря всем этим приемам и ярким сравнениям картина боя приобретает зримость и звучание, хотя в истоках описания лежат традиционные воинские формулы.

Отдельные воинские формулы разбросаны в эпизодах последней битвы в Казани: «И приидоша во град на конех своих, яко грозная туча с великим громом, лиющеся со всех стран, аки сильная вода, во все врата и проломы»; «И трескотоху копия и сулицы, и мечи в руках их и, яко гром силен, глас и кричание обоих вои громающе»; «И скоро побежденны бываху казанцы, яко грава посещахуся»; «И бе видети, яко высокия горы, громады же великия побитых казанцев лежащих, яко внутри града з градными стенами сравнитися, и во вратех же градных, и в проломех, и

за градом и ровех, и в потоцех, и в кладязех, и по Казани реке, и по-за Булаку, по лугом безчисленно мертвых бысть, яко и силному коню не могущу долго скакати по трупию мертвых казанцев, но вседати воином на иныя коня и пренятися. Реки иже по всему граду крови их пролияшася, и потоцы горячих слез протекоша, и яко великая лужи дождевныя воды, кровь стояще по низким местом и очерленеваше землю, яко речным водам с кровию смеситися, и не можаху людие из рек по 7 дни пити воды, конем же и людем в крови до колону бродити» (Там же. С. 151, 152, 155, 156).

Изо всех этих отрывков формулу в традиционном виде представляет только третий. В первом и втором случаях встречаемся с уже знакомыми формулами, но в первом — соединены две формулы сравнения: *войска с громовой тучей и водой*, причем они усилены выразительными эпитетами *грозная, великий, сильный*, а во втором, кроме эпитета *гром силен*, используется тавтологическое сочетание *глас и кричание*. Таким образом, в этих случаях, воинские формулы распространены, как бы «украшены».

Целую цепочку формул встречаем в четвертом описании, но они вновь «встроены» в пространную конкретную картину боя и приобретают нетрадиционное оформление. Так, сравнение множества убитых с горой традиционно, но автор не только усиливает это сравнение эпитетом *высокий*, но и дополнительным сравнением с высотой городских стен, а затем перечислением всех мест, где лежали убитые. Примечательно, что обычную формулу *бой столь страшен и продолжителен, что воины вынуждены пересаживаться на других коней*, автор тоже переносит в это описание, подчеркивая потери казанцев в битве.

По сути дела, это описание аналогично приводившемуся ранее, только о поражении русских войск, а здесь речь идет о казанцах. Возможно, поэтому автор сознательно прибегает здесь еще к одному мотиву, звучавшему в первом описании *кровь течет, как река*. Но в данном случае этот образ риторически варьируется, усиливаясь: *реки крови; как лужи дождевой воды, кровь в низинах, окрашивающая землю в красный цвет; речные воды, смешанные с кровью; люди и кони, бродящие в крови по колону*. Кроме того автор привлекает и сходный образ *реки слез*, причем оформляет его с пошибом индивидуальной выразительной гиперболы *потоцы горячих слез протекоша*, подчеркивая размеры поражения, нанесенного казанцам.

Если продолжить сравнение описаний, то обнаружим и цифровое изображение тяжести потерь, понесенных казанцами: «реки по 3 дни кровию течаху» и «не можаху людие из рек по 7 дни

пити воды». Эти аналогии наводят на мысль о том, что автор стремился подчеркнуть мысль, явственно звучащую во всем повествовании: завоевание Казани — наказание царству, много веков губившему русских людей, справедливое возмездие ему.

Итак, автор «Казанской истории», используя традиционный арсенал «формул воинского повествования», проявляет большую самостоятельность в его интерпретации. В стиле повествования не слепое следование традиции определенного жанра, а свободный выбор и обработка разнообразных художественных средств, наилучшим образом отвечающих задачам его произведения: эпитетов, сравнений, гипербол и риторически распространенных, переосмысленных, соединенных формул, подчиненных целям конкретного описания событий.

Отметим еще, что в соотношении с общим объемом повествования описания битв в «Казанской истории» занимают совсем небольшое место, как может показаться на первый взгляд и как это было в воинских повестях предшествующего времени. Автор, умудренный собственным опытом войны и многолетнего плена в Казани, считал: «То бо есть от века и от рожения дело варварское и ремество кормится войною» (там же. С. 176). А поэтому картины битв в произведении, при всей их наглядности, эмоциональности и высоком художественном уровне, не самоцельны, а служат лишь иллюстрацией мыслей автора о многовековой горе, приносимом русским людям грозным Казанским царством, и величии подвига русских воинов, одержавших над ним справедливую победу во время правления Ивана IV.

Советы диалектолога

А. С. ГЕРД,

доктор филологических наук

В «Советах диалектолога», опубликованных в журнале «Русская речь» в 1991 году, говорилось о том, что постепенно фонды и картотеки диалектной областной лексики должны перерасти в картотеки современной разговорной речи (№ 5. С. 109—112).

Однако, как выяснилось из нескольких писем и бесед в ряде вузов, с одной стороны, именно пути и методы перехода от традиционных картотек дифференциальной лексики к сбору и накоплению материалов по спонтанной речи и к картотекам современной русской разговорной речи остаются порой наиболее неясными и вызывают целый ряд вопросов. С другой стороны, многие справедливо отмечают, что в некоторых областях и районах язык деревни сегодня уже почти ничем не отличается от современного обиходного русского языка, и «никаких особых сугубо диалектных слов не найдешь». И наконец, есть такие места, где все говорят по-русски, а старых диалектов там не было и нет.

Лингвистами Москвы, Саратова, Перми, Петербурга сделано немало по изучению современной русской разговорной речи. И все же, действительно, ареальный, диалектологический и этнолингвистический аспекты этой работы остаются наименее описанными, в то же время именно эти аспекты доступны прямому наблюдению наибольшего числа филологов и любителей живого русского слова. Да и дискуссия о состоянии русского языка, опубликованная в журнале «Русская речь» (1991. №№ 2—5), вновь возвращает нас к вопросу о том, развитие каких форм языка нуждается в постоянном наблюдении.

Вспомним сначала основные типы и формы существования языка. С одной стороны, это язык художественной литературы, язык публицистики, язык науки и техники, язык организационно-распорядительной документации, с другой — диалект, наречие, региолекты, арго, жаргоны, литературная разговорная речь, обиходно-бытовая неофициальная речь, личная официальная речь.

Как видим, типы языкового состояния по форме реализации делятся прежде всего на письменные и устные. Развитие письменных мы можем постоянно наблюдать, внимательно вчитываясь в

страницы романов, повестей, рассказов, очерков, стихотворений, через язык газет, журналов, научных публикаций.

Гораздо сложнее заметить и выявить эволюцию устной речи. Не зря говорится: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». В отличие от письменного языка, его устная форма требует постоянных стационарных наблюдений и записей в разном виде (от руки, на магнитофон).

Нужно ли изучать разговорный язык в пространственном, ареальном аспекте?

Несмотря на наличие многих общих закономерностей в русской разговорной речи в целом, разговорный язык в разных краях, областях имеет немало местных локальных особенностей. Многие из нас замечали, что житель Архангельска или Перми говорит совсем не так, как куряне или орловцы, а язык жителей Ростова-на-Дону резко отличается от речи ростовцев Ярославской области. Таким образом, и разговорный язык нуждается в ареальном подходе.

И здесь не надо думать, что диалект умирает и исчезает под влиянием радио, телевидения, газет, журналов, школы. Он не умирает, а медленно трансформируется именно в разные местные формы разговорной речи, в полудиалекты, в региолекты. При этом происходит значительное сближение диалектной речи с общими нормами русской разговорной речи.

Одновременно следует отметить, что на лингвистической карте можно найти целые зоны, районы, в которых никогда и не было традиционных крестьянских диалектов, однако, сегодня там распространены самые разные формы разговорной речи того или иного языка. Это прежде всего микрорайоны новых промышленных городов и их окрестностей, возникшие за последние 60—70 лет, например, Мончегорск на Кольском полуострове, Норильск на Таймыре, Мирный в Якутии, Новый Уренгой, Сургут, Тында — в Сибири, Сегежа, Кондопога — в Карелии, Кириши — в Ленинградской области, Тольятти — на Волге, Набережные Челны — на Каме и др. Язык таких городов заслуживает особого внимания, так как в них проживают представители многих национальностей из разных мест, а исторически эти города, как правило, совсем не связаны с местным диалектом. Например, большинство новых городов Крайнего Севера возникло вообще в тундре, где ранее были только редкие оленеводческие стойбища ненцев или эвенков. В современном Норильске только на металлургическом комбинате работают представители более 80 национальностей.

Особый интерес и с этнолингвистической, и социолингвистической точек зрения представляют районы развитого двуязычия и

многоязычия, то есть места, где рядом живут русские и другие народы, где в силу исторически сложившихся условий нередко и русские хорошо владеют языком местного населения, а местное население свободно владеет русским языком. Таковы, например, ряд районов Карелии, Ленинградской и Тверской областей (рядом живут карелы, вепсы, финны, ижора, воедь), а также республики Поволжья, Урала и Западной Сибири (рядом живут татары, башкиры, русские), в Бурятии (совместно обитают буряты и так называемые русские-семейские) и др. Наконец, большие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Самара, Саратов, Новосибирск представляют свой особый пестрый этносоциолингвистический мир.

Регулярная фиксация через определенные промежутки времени разговорной речи в одной и той же узкой микроне (городе, поселке, деревне) позволит выявить основные тенденции развития речи по разным группам населения не только в целом, но и по отдельным ареалам. И здесь нельзя не вспомнить, что, например, у нас почти потеряна разговорная речь русских городов XVIII или XIX веков, исключая ее отражение в произведениях художественной литературы. Напротив, благодаря наличию старых словарей (Смоленский областной словарь Добровольского, Словарь олонекского областного наречия Г. Куликовского, Опыт областного великорусского словаря Академии наук и Дополнений к нему) и новых капитальных современных картотек мы можем сравнивать состояние лексики XIX — начала XX веков и современных диалектов по смоленским, псковским, олонекским (онежским), осташковским (тверским) диалектам.

У нас сегодня нет пока ни лингвистической географии разговорной речи, ни очерков ее истории. Однако создание таких трудов в будущем невозможно без регулярных фиксаций разговорного языка сегодня во всех формах и областях его существования.

Прежде чем приступить к непосредственным записям разговорной речи на магнитофон, следует уточнить, какой этнолингвистический и социолингвистический тип избирается для дальнейшего наблюдения и изучения.

С точки зрения социолингвистической им может быть современная деревня (ряд деревень), поселок городского типа, небольшой городок, районный центр или областной старинный город, издавна лежащий в сильном диалектном окружении. Таковы, например, старинные русские города — Псков, Смоленск, Вологда, Новгород, Курск, Гдов, Опочка, Порхов, Тихвин, Ржев, Ростов Великий, Каргополь, Великий Устюг, Коломна, Осташков, многие

города Урала. Особого внимания требует речь новых городов типа Сургут, Новый Уренгой.

После того как тот или иной объект (поселок, город, район) избран для изучения, нужно произвести его общее этносоциолингвистическое обследование, т. е. необходимо по различным источникам (литература, статистические материалы, архивы местных органов власти) получить достаточно определенное представление о национальном составе населения, о распределении его по социальным группам, по профессиям.

Например, на одном полюсе здесь лежат в целом однонациональные города и поселки центральной части Европейской России, тесно связанные с селом, с деревней, а на другом — новые многонациональные промышленные города.

Далее необходимо определить, язык и речь какой части населения является предметом нашего обследования. Подходы здесь могут быть самые разные. Например, можно записывать речь только русских, местных уроженцев и только в однонациональных семьях. Можно ограничиться разными параметрами: возрастными (записывать речь только молодежи в возрасте до 30—35 лет); образовательными (только лиц со средним или только с высшим образованием); социальными (только рабочих одной профессии, только крестьян и т. п.).

В любом случае в ходе подготовки к проведению записей разговорной речи весьма целесообразно, по возможности, познакомиться с основными теоретическими работами по этой теме, теории речевых актов, речевому общению.

Несколько особой методики требует подход к записям русской речи нерусского населения в ситуациях билингвизма и многонационального города. В этих случаях целесообразно обратить внимание на отношение к языку.

В целом изучение разговорной речи требует максимально полной характеристики информантов: должны быть учтены их пол, возраст, место рождения, национальность, родной язык, среда происхождения, общения, образование, профессия.

В идеале, по-видимому, целесообразно вести обследование не столько вширь (по разным поселкам, городам), сколько вглубь: производить больше записей в одном отдельно избранном поселке, городе, селе и при этом от лиц разного пола, национальности, возраста, образования, профессии.

И вот здесь мы переходим уже к самой методике проведения бесед и записей. Их следует вести при помощи магнитофона. В принципе можно фиксировать любые виды спонтанной речи (монолог, диалог, совместную беседу ряда лиц). Наиболее ценные и объективные материалы дают записи диалогов и бесед местных

жителей между собой (диалоги и полилоги), естественно и параллельно без наводящих вопросов. Но не менее существенные данные содержат рассказы-монологи о своей жизни, семье, о работе, занятиях. В ходе таких рассказов тот, кто ведет запись, может задавать наводящие вопросы, подавать отдельные реплики.

Весьма оригинальный материал дают записи небольших производственных собраний, заседаний.

Нередко задают вопрос: «Не проще ли записывать разговорную речь прямо в Москве или Петербурге, у себя на работе, дома, чем производить эти записи в Норильске или где-нибудь в Поволжье?» Конечно, записывать надо и в Москве, и в Петербурге, и у друзей, и в гостях. И как раз в Москве, Петербурге, Саратове, Перми более всего сделано по части изучения разговорной речи. Но вести эту работу в больших городах не проще, а много сложнее, именно в силу этносоциолингвистической пестроты и мозаичности таких больших городов.

Итак, запись произведена. Кассеты, одна или несколько, заполнены. И здесь следует сказать, что в принципе не нужно стремиться к накоплению большого числа нерасшифрованных кассет, а лучше, по возможности, сразу же приступить к их расшифровке. Дело это довольно трудоемкое. Расшифровка кассеты может быть двух видов — с восстановлением ее акцентно-фонетических особенностей и в стандартной орфографии.

Первый тип требует специальной фонетической подготовки, второй — расшифровка в стандартной орфографии — доступен более широкому кругу лиц, оба предполагают неоднократное прокручивание кассеты «назад» и требуют большого внимания. Оптимальный вариант — расшифровка вдвоем с последующей взаимной перепроверкой записей. При этом очень важно, чтобы их дешифровка была произведена здесь же, вскоре после сделанной записи, теми же собирателями, которые вели ее и как бы воочию наблюдали не только всю ситуацию, но и помнят особенности речи информанта, его артикуляцию, манеру говорить.

В ходе расшифровки в тетради должна быть размечена речь каждого из информантов, собеседников, проведено детальное описание всей ситуации (запись дома, в больнице, в цехе, на выезде в поле, в кругу друзей и т. д.) и сведений об информантах. В перспективе наиболее целесообразно вести ежегодные стационарные записи спонтанной речи в одной и той же микроне, пункте с обязательной их расшифровкой в условиях, максимально приближенных к месту записи. Год от года следует расширять и уточнять этнолингвистические и социолингвистические аспекты обследования.

Каковы же формы хранения собранных материалов по раз-

говорной речи? Основной формой хранения являются кассеты и тетради расшифрованных текстов. Другим наиболее целесообразным направлением в хранении является создание автоматизированных баз данных текстов. Будучи один раз введены в ЭВМ, эти тексты при наличии соответствующих программ позволяют получать ответы на самые разнообразные запросы по лексике, морфологии и их синтаксису. Так, например, по материалам полевых экспедиций с 1980 по 1990 годы на кафедре математической лингвистики Петербургского университета создается такая база данных городов Крайнего Севера и Заполярья.

В свою очередь, лексика текстов по разговорной речи может служить источником пополнения уже имеющихся традиционных местных картотек по диалектам. При этом не следует бояться некоего размывания картотеки. Она в своей основе всегда шире любого отдельного задуманного словаря, и в ней должны быть накоплены все материалы, которые удалось собрать. Так диалектная картотека того или иного региона постепенно превращается в картотеку лексики разговорного языка данной области.

В более далекой перспективе можно думать о переводе такой картотеки на формы хранения через ЭВМ и о создании единого комплекса автоматизированных баз данных по диалекту той или иной области.

Но никакие базы данных и информационные системы не могут быть созданы без тщательного повседневного полевого стационарного наблюдения за современной русской разговорной речью.

Санкт-Петербург



Может ли у соловья вывестись скворец?

Н. В. ПОДОЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

Дело было в Ярославле в XV веке. Жил там некий человек по имени Василий Иванович, по прозвищу *Борщ*. Был он женат и имел двух сыновей. Один из них был зубоскал и насмешник и прозван был за это *Ощером* (ср. *ощериться*), а второй, видать, был певец голосистый и получил среди людей, а может быть, и в семье, прозвание *Соловей*, хотя имел имя Илья, да еще звался *Борщев сын*.

Соловьев всегда любили и слушали их песни. Еще в «Слове о полку Игореве» сказано: «Соловьи веселыми песьми свет поведают». Хорошее прозвище имел Илья! И не один Соловей был в Ярославле, известен и другой: *Пестрик Соловей Иванович* и жили они в одно время с *Соловьем Борщевым сыном* в середине XVI века. Похоже, что в отца пошел и сын, потому как звался *Скворец Ильич Соловьев сын Борщев*. Все сказано о человеке с таким именем: чей он сын, чей внук и каким особым качеством наделен по наследству.

Думаете, одна была такая «птичья» семья? Что скажете, если имел человек такое полное имя: *Иван Иванович Синица Воробьев сын*? И папа *Воробей* известен по старым документам. Вообще Воробьев в XV—XVII веках было множество. Если особо повезло человеку, то мог он называться *Цыпля Курицын Александр*

Григорьевич. При этом не мама была у него Курицей, а папа, коего звали Григорий Романович (а было это в XV в.).

Отсюда и наши распространенные фамилии Соловьевы, Скворцовы, Воробьевы, Синицыны, Воронины, Галкины, Дергачевы, Кречетовы, Гагарины, Голубевы, уж не говоря о домашних — Курицыны, Уткины, Гусевы, Петуховы.

Семьи в те далекие времена были не только «птичьи», были и «овечьи». В конце XV века в Новгороде Великом жил человек, которого звали *Михаил Ягныш Баранов Овцын*, иными словами, этот *Ягненок* был сыном *Барана* и внуком *Овцы* (*Овца* — тоже мужское прозвище). У слова *баран* в те времена было несколько значений: это «баран», «баранья туша», «выделанная баранья кожа»; определенный размер налога, а также штраф; кроме того так называлось «стенобитное орудие, таран». Надо думать, что первое основное значение названия этого животного, бестолкового и упрямого, послужило именем отца Ягныша. У боярина *Андрея Кобылы* брат звался *Шевлякой* («кляча, плохая лошаденка»).

А вот «рыбье» семейство: похоже на то, что это были два брата из помещицкой новгородской семьи *Андрей Иванович Сом Линеv*, а другой — *Окунь Иванович Линеv*, и проживали они во второй половине XV века. Папенька звался *Линь*, другие его имена неизвестны. Зато от Сомы пошли Сомовы, а от Окуня — Окуневы. Поскольку в то время переходящих из поколения в поколение фамилий не было, то *Линевы*, *Сомовы* и *Окуневы* были не более, чем указанием на имя отца. Не забыты были и такие рыбы, как ерш и карась: *Алексей Ершов сын Линеv* значится как дворянин в 1550 году, а *Карась Линеv* жил в XVII веке в Суздале. Встречаются и щуки, как среди женщин, так и среди мужчин: холопка *Марья Щука*, окольниковый *Федор Щука*; а также крестьяне *Лещ*, *Уклея*, *Сазан*, *Сиг*, *Лосось* (но эти — без «рыбьих» отчеств, может быть, потому, что это крестьяне, без величания по отцу).

И заметьте, что рыба вся — исключительно речная и весьма популярная, а люди — из речных городов: Казани, Курмыша, Новгорода Великого, Нижнего Новгорода.

Это мы всё про «животные» прозвища рассказывали, были, однако, и другие прозвища, но стремление одно — объединить этими наименованиями членов одной семьи. Известны три брата в XV веке, которые по нынешним меркам имели вполне «достоточные» имена *Дмитрий Борисович Галицкий*, но он еще и *Береза*, *Иван Борисович Галицкий*, но он и *Ива*, а *Семен Борисович Галицкий* — *Осина*! Такая молодая и разнообразная поросль от одного корня! И огородные культуры не забыты: *Редька*, *Капуста* и *Горох Андреевичи Семичевы* — новгородские помещики XVI

века. Есть и дикие травянистые растения: «в роде смоленских князей, утративших княжеское звание Фоминских-Березуйских, у Ивана Григорьевича Осоки Травина были сыновья Григорий Пырей, Иван Атава («травя после покоса»), Василий Вязель («полевой горошек») и Семен Дятелина. У Атавы сын Щавей (т. е. щавель)» (Веселовский С. В. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974).

Как теперь, так и в старину бывали шумливые семейства, но сейчас это сокрыто под нейтральными именами и фамилиями, а тогда было выставлено как напоказ: сыновья и внуки *Тырта* (*тырта* — «краснобай; спорщик, сварливый человек»). Есть прозвище *Тыртов*: см. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка) звались *Шум*, *Гам* и *Зук* («звук, звон, гул») *Семеновичи Тыртовы* (XVI в.). А у Зук был еще сын *Крик Зуков Тыртов*. И вот наконец у Гама родился спокойный сын и сразу же был отмечен именем *Мир Гамов Тыртов*.

Бывали и более беспокойные семьи: *Суета*, *Суторма* («суета, беспорядок»), *Неустрой* и *Булгак* («склочник, вздорный человек») *Васильевичи* — четыре сына *Василия Яковлевича Безсоньева* (XVI в.). Может быть, в деде была причина беспокойства потомков, ибо деда звали *Безсон*. Это было распространенное прозвище, стало быть, и свойство или недуг, бессонница, были распространены.

Все это прозвища в больших семьях — кустовые, а в обычае были и единичные: у князя *Ивана Федоровича Лося* сын — *Лосенок* (XVII в.), а у *Черта* — *Чертенок* (XV в.), у *Юрия Григорьевича Волка Каменского* сына звали *Волченок Слепой Иван Юрьевич*. В XV—XVII веках их носили люди православные (о чем свидетельствуют многие их имена и отчества) и эти кустовые имена-прозвища уже не были языческими. Вероятно, отсутствие фамилий и народная традиция были причиной столь частых названий прозвищами не только в быту, но и в документах.



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ *

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Бе́жецк (1137)*. Город в Тверской области. Приводится и другая дата первого упоминания города — 1244 год. Происхождение названия окончательно не выяснено. В его основе можно видеть праславянское *bežь/beza* из **beg*, которое в русском языке дало форму *бежь* — «беженцы, беглецы». По мнению В. А. Николаева, город был основан беженцами (из Новгорода?). Форма с *-ичи* косвенно подтверждает версию о беженцах, тем более, что название жителей с патронимическим *-ичи* (из *itjo*) довольно широко известна в западном регионе России.

Связать напрямую топонимы *Бежецк*, *Бежица* с фамилией *Бежин* невозможно. Они могут быть соотнесены с прозвищем *Беж* из *беж-* «беглец, беженец», которое впоследствии в соединении с разными суффиксами (*-ецк*, *-иц*, *-ин*) дало эти топонимы.

бежечане, бежечанин, бежечанка

бежецкий, -ая, -ое

Белгород (1593). Город, центр Белгородской области. Возник как сторожевой пост на южной границе Русского государства. Именно поэтому вторая часть названия *-город* первоначально имела значение «укрепленное место, крепость». По поводу первой части — *бел-* существуют разные точки зрения, вплоть до того, что *белый город* — это город, освобожденный от каких-то налогов, повинностей, что противоречит действительности, так как исторически Белгород никогда не находился в подобном положении. Известны мнения о том, что *белый город* значит «прек-

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. № 4.

расный» или «имеющий направление на север или на запад», но они лишены основания, так как в русской топонимии «прекрасный, красивый город» был бы назван *Красным*, а о направлении можно говорить только по отношению к реке, а не к населенному пункту. Более реально предположение В. А. Никонова о том, что город получил название по белому цвету зданий, побеленных мелом (Никонов. Краткий топонимический словарь). Предпочтительнее версия о том, что город назван *белым* по цвету камня, из которого были построены крепостные стены, укрепления, постройки внутри крепости. Ведь город находится в центре меловых — белых по цвету — разработок, на меловой горе. Подобный признак номинации известен в топонимии на других славянских территориях, например *Белград* (*Београд*) в Югославии, как считает В. А. Никонов. Топоним *Белгород* часто встречался в Древней Руси: *Белгород* в Рязанской, Тверской землях; *Белгород* Ливонский, Угорский; *Белгород* в устье Днепра, *Белгород* под Киевом и др.

белгородцы, белгородец, белгородка

белгородский, -ая, -ое

Белёв (1147)*. Город в Тульской области. Статус города получил в 1777 году. Происхождение названия окончательно не выяснено. Есть основания связать его с прилагательным *белёвый*, известным в сочетании *белёвая земля*. В русских диалектах *белёвой землей* называют светлосерые супески или подзолистые почвы, подзол (Словарь русских народных говоров. М.—Л., 1965. Вып. 2. Далее: СРНГ). Не исключено, что здесь, в окском левобережье в приграничных районах с Черноземьем светлосерый цвет подзолистой земли мог стать характерным отличительным признаком, давшим основу названию. В народной географической терминологии известен термин *бель* с широким кругом значений: «березовый лес», «болото с березняком», «белые барашки на волнах» и др. (Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984). Если бы в основе топонима *Белёв* был термин *бель*, то по законам русского словообразования было бы *Бельской* или *Бельский*. Предположение о связи *Белёв* с *белый* (по цвету камня, из которого сложены стены кремля в этом городе) тоже лишено основания, так как в этом случае топоним и имел бы форму *Белый*, как *Белый город* в Москве, на месте которого современное бульварное кольцо, или *Белгород*.

белёвцы, белёвец, белёвка

белёвский, -ая, -ое

Белинский (1780). Город в Пензенской области. До 1780 года — село Чембар, с 1947 — Белинский. Переименован в честь известного литературного критика В. Г. Белинского, который

провел в Чембаре детские годы. Название села Чембар дано по реке Малый Чембар, на берегу которой оно было построено.

В основе гидронима *Чембар* можно видеть русское диалектное *чембары* «широкие кожаные или холщевые шаровары», определяемое В. Далем как оренбургское и сибирское (Даль. Т. IV), заимствованное из диалектной тюркской формы *şalvar* «штаны, шаровары» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. IV). Номинация произошла по конфигурации слившихся рек Чембар и М. Чембар, напоминавшей штанины (Ср.: *овраг Портки* в Поочье).

бели́нцы, бели́нец и чемба́рцы, чемба́рец
бели́нский, -ая, -ое и чемба́рский, -ая, -ое

Бе́лый (1359)*. Город в Тверской области. Происхождение названия не ясно. Известно, что в названиях древних русских городов слово *белый* могло иметь разные значения — белый цвет камня, из которого построен город или крепостная стена вокруг него, белесый цвет почвы или «освобожденный от налогов, повинностей», т. е. свободный. Какое из значений этого слова легло в основу топонима *Белый*, не известно.

бельча́не, бельча́нин, бельча́нка и бе́ляне, бе́лянин
бе́льский, -ая, -ое

Битю́г (река, левый приток Дона). Происхождение названия окончательно не выявлено, хотя на этот счет существует несколько версий. В. А. Никонов приводит мнение Ф. Корша и В. Радлова о том, что оно связано с тюркским (чагатайским) словом в значении «верблюд», но отмечает, что научного обоснования этой версии не существует. В настоящее время известна научная разработка этого топонима, предложенная доктором филологических наук Е. С. Отиным. Он считает, что гидроним *Битюг* — это один из фонетических вариантов тюркского прилагательного в значении «высокий». Название дано тюрками булгарской группы. Это предположение он подкрепляет и признаком номинации — крутой правый берег этой реки (от села Мечетки до устья). Е. С. Отин обращает внимание на то, что гидроним *Битюг* стал названием породы лошадей-тяжеловозов, выведенных в местных условиях. А существующее мнение о том, что Петр I прислал сюда голландских жеребцов для скрещивания с местной породой, он считает несостоятельным. Порода высокорослых сильных тяжеловозов издавна сложилась в местных условиях (Отин Е. С. Из этимологических исследований Донской гидронимии/Этимология. 1970. М., 1972).

битюжа́не, битюжа́нин, битюжа́нка
битю́жский, -ая, -ое

Бобров (1779). Город в Воронежской области. Более ранние названия: *слобода Бобровская, село Бобровское, город Бобровск*. Название дано по существовавшему здесь когда-то бобровому промыслу (на реке Битюг). Факт обитания бобров и связанный с ними промысел широко представлен в гидронимии Центральной России. В бассейне каждой большой реки было несколько небольших «бобровых» речек и озер. В бассейне Оки, например, их зафиксировано около семидесяти: *Бобрик, Бобринка, Бобреха, Бобровка, Бобровое, Бобровской, Боброк* и др. (Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976). По таким названиям ученые в настоящее время восстанавливают бывшее расселение бобров.

бобровча́не, бобровча́нин, бобровча́нка и *устар.* бобровля́не, бобровля́нин

бобро́вский, -ая, -ое

Богоро́дицк (1777). Город в Тульской области. В прошлом это село *Богородицк*, известное уже в XVII веке. Название дано по храму Пресвятой Богородицы, построенному в этом селе. По преданию, он был возведен специально для иконы Пресвятой Богородицы Стратотерпицы, найденной на этом месте. Название храмов, в частности, богородичного ряда, довольно часто встречаются в топонимии России и на территории всего восточного славянства.

богородча́не, богородча́нин, богородча́нка

богоро́дицкий, -ая, -ое

Богоро́дск (1923). Город в Нижегородской области. В прошлом это село *Богородичное, Богородское, Богородицкое*. Современную форму названия *Богородск* оно получило в связи с присвоением статуса города. Конечное положение суф. -ск свойственно названиям современных русских городов.

В XVII веке село было известно как центр кожевенного промысла России.

богородча́не, богородча́нин, богородча́нка и богоро́дцы, бо-
горо́дец

богоро́дский, -ая, -ое

Богуча́р (1779). Город в Воронежской области. Название дано по реке Богучар (современное Богучарка), на берегу которой он был основан. По сведениям А. Прохорова, первоначально — *Богучар* относилось ко всей местности. Одна из форм названия речки *Баучар* отражает диалектное произношение *г* как фрикативного, которое в произношении выпадало, потому что представляло собой своеобразное придыхание. Происхождение названия неясно. Предполагают, что оно возникло из двух

тюркских слов *баг* «веревка» и *учар* «рынок», т. е. «рынок, место рынка», вероятно, первоначально место, огороженное веревкой. Возможно, что название иранского происхождения, вторая часть которого значит «двигаться» (Прохоров А. Вся Воронежская земля. Воронеж, 1973). Более убедительна первая версия, т. к. место торговли впоследствии часто становилось городом. Такие топонимы известны по всей Европе: *Турку*, *Торгау*, *Нови Тарг*, *Торжок* и др.

богучарцы, богучарец и богучаровцы, богучаровец, богучаровка
богучарский, -ая, -ое

Бокситогорск (1950). Город в Ленинградской области. Название дано в связи с близким расположением залежей и разработки Тихвинского месторождения бокситов. Именование полезного ископаемого, как правило, становится впоследствии и названием селения, возникшего на месте его разработки. Ср. поблизости город *Сланцы*, а также многочисленные топонимы с *Нефте-* и др.

Элемент *горск*(*горский*) по происхождению связан со словом *гора*, но в настоящее время не ассоциируется с ним. Преимущественно он является признаком названия города, связанного с добычей какого-либо полезного ископаемого — *Углегорск*, *Солегорск*, но и *Дивногорск*.

бокситогорцы, бокситогорец
бокситогорский, -ая, -ое

Болдино (современное Большое Болдино). Известно с начала XVII века как владение Пушкиных. Происхождение названия окончательно не установлено. Есть основания связать его с прозвищем (фамилией) *Балдин* из *Балда*. Аpellятив *балда* известен в русских диалектах в значении «дубина с комлевым набалдашником» и в переносном общерусском «дурак, тупица». Возможно, селение принадлежало некоему Балде, получившему прозвище по одному из указанных значений: был внешне похож на балду или напоминал слабоумного, но скорее первое. В условиях окружающего нижегородского говора предупредное *a* проносилось, как *o*, что отразилось впоследствии и на письме — *Болда*, *Болдин* и село *Болдино*, видимо, с ударением на конце. Прозвище *Балда* известно у русских уже в XVI веке: *Балда Кондрат*, крестьянин, 1564 г., Олонец; *Тевяш Балда Николаевич*, сер. XVI в., Новгород (Веселовский. Ономастикон). Ср. также русское село *Болтино* в Ромодановском районе Мордовской республики. Оно принадлежало Ф. С. Болтину в 1642 году и, как считают исследователи, названо по его фамилии (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

— Болдино было именем отца А. С. Пушкина, часть которого

он подарил сыну в связи с его предстоящей женитьбой. В конце августа 1830 года Пушкин поехал в Болдино по делам этого имения, но из-за вспыхнувшей эпидемии холеры безвыездно провел там три месяца. Это вынужденное заточение стало вершиной творческого взлета поэта: «...я в Болдине писал, как давно уже не писал». Здесь им созданы «Маленькие трагедии», повести Белкина, поэма «Домик в Коломне», несколько глав «Евгения Онегина» и около тридцати стихотворений. Позднее появилось выражение *Болдинская осень*. Оно употребляется в прямом смысле как определенный период в творчестве А. С. Пушкина и в переносном — как наивысшее проявление человеческих сил в создании духовных или материальных ценностей; наиболее плодотворный период жизни.

болди́нцы, болди́нец

болди́нский, -ая, -ое

Болого́е (1926). Город в Тверской области. Вероятно, в основе названия общеславянский апеллятив, имеющий на русской почве формы *болог* и *благ* с широким кругом значений, объединенных понятиями «плохой» и «хороший». Не исключено, что в данном случае апеллятив *бологой* дал основу топониму в значении «плохой, неудобный, непригодный» для проживания или «связанный с нечистой силой, со злым духом; нечистое место» (СРНГ. Вып. 2).

болого́вцы, болого́вец, болого́вка

болого́вский, -ая, -ое

Болохо́во (1943). Город в Тульской области. Есть основания видеть в топониме личное мужское имя (прозвище) *Болх* или *Болох*, известное у русских с XV века. *Болхом* называли, например, князя Ивана Андреевича Звенигородского, ставшего родоначальником князей Болховских (Веселовский. Ономастикон). В основе антропонима несомненно русское диалектное *болох* (*болых*, *болух*) «крикун, бестолковый человек» (СРНГ. Вып. 3). См. *Болхов*.

болховча́не, болховча́нин, болховча́нка и болховцы, болховец
болховский, -ая, -ое

Бо́лхов (1556). Город в Орловской области. В основе топонима личное мужское имя *Болх*, так же, как и в *Болохове*. Ср. также *болухманий* «беспокойный крикливый человек», *болухванить* — «хвалить» (СРНГ. Вып. 3). Ст. Роспонд считает форму *Болох* сокращенной от *Болеслав* и видит ее в основе западноукраинского топонима *Болохов* (бывшая Подольская губерния). Но эта версия, допустимая для западноукраинского города, не представляется убедительной в названии тульского и орловского городов и требует дополнительной аргументации. К тому же имя *Болх* не известно

в ранних русских источниках, оно появляется позже, что свидетельствует о его русской диалектной природе. См. *Болохово*.

болховча́не, болховча́нин, болховча́нка и *устар.* болховцы, *болховец*
устар. болхови́тяне, болхови́тянин, болхови́тянка

болховский, -ая, -ое и болховско́й, -ая, -ое

Болховитяне рака со звоном встречали: вот воевода к нам ползет, а щетинку в зубах несет. В этой присказке отражены характерные черты жителей этого города — поспешность, крикливость, сумасбродство, не очень большой ум.

Бор (1938). Город в Нижегородской области. В основе топонима апеллятив *бор* «большой сосновый или еловый лес, растущий на сухом возвышенном месте». Город возник среди соснового леса, который в незначительном количестве сохранился и сейчас на его окраинах, например, так называемое *Моховое Болото* (Трубе Л. Л. Как возникли географические названия Горьковской области. Горький, 1962).

борча́не, борча́нин, борча́нка и *устар.* боровля́не, боровля́нин,
бо́рский, -ая, -ое

Борисогле́бск (1646). Город в Воронежской области. Более раннее название *Павловская крепость*, а современное дано по возведенной здесь в 1704 году церкви во имя святых Бориса и Глеба. Названия храмов в России часто становились впоследствии топонимами: города — *Архангельск, Никольск, Петропавловск*; село *Никольское* и др.

борисогле́бцы, борисогле́бец

борисогле́бский, -ая, -ое

Борисоглебцы — кислонёзды. Такое прозвище дано жителям Борисоглебска потому, что они были потомственными скорняками и клейщиками. Оба занятия связаны с неприятным, дурным, постоянно стоявшим в их дворах и домах запахом, который шел от обрабатываемых шкур, кож и сопутствовал приготовлению клея.

Борови́чи (1770). Город в Новгородской области. Вероятно, в основе названия слово *боровица*, имеющее в русских диалектах разные значения: «бор, сосновая или еловая роща» (ср. *дубровица*), «боровая почва», «боровое растение, вереск». Скорее всего, первое значение апеллятива и стало основой топонима. Изменение *ц > ч* вполне закономерно в цокающих в прошлом новгородских говорах и зафиксировано в памятниках новгородской письменности XIII века. Не исключено, что топоним расшифровывается иначе: *бор-ов-ичи*, т. е. *боровичи* — люди, живущие в бору, в лесу.

боровича́не, боровича́нин, боровича́нка

боровичский, -ая, -ое и боровицкий, -ая, -ое

Город Боровичи — гам-город, т. е. населен беспокойными, шумливыми людьми.

Боровичане — волнушечники, водохлебы. Это означает большое пристрастие жителей к грибам волнушкам (которых много в окрестных лесах), а также к чаепитию.

Боровичане — луковники. Луку, луку зеленого. Это прозвище (дразнилка) говорит о том, что одним из главных занятий жителей было выращивание на продажу зеленого лука.

Боровск (1356)*. Город в Калужской области. Название связано с тем, что он возник в бору, который сохранился частично до настоящего времени. Слово *бор* может обозначать не только «сосновый или еловый лес», но и иметь значения «смешанный или лиственный лес», «песчаное место», «сухое возвышенное место среди болот» и др. (Мурзаев. Словарь народных географических терминов). Поскольку в окрестностях Боровска до сих пор сохранился хвойный лес, то можно считать, что слово *бор* стало основой топонима в значении «большой сосновый или еловый лес, растущий на сухом возвышенном месте». Аналогичные топонимы известны по всей России: города *Боровск* (в Пермской обл.), *Боровой*, *Боровское*, *Боровской* (неоднократно).

— Поблизости от города находится один из древних русских монастырей — Боровский Пафнутьевский монастырь, основанный в 1444 году и сыгравший большую роль в развитии русской культуры.

боровчане, боровчанин, боровчанка; боровичи, борович

боровцы, боровец, устар. боровитин

боровский, -ая, -ое

Бородино (XVII в.). Село в Московской области. Название, видимо, дано по фамилии (прозвищу) *Борода*, *Бородин*, принадлежавшей основателю или одному из владельцев села. Эта фамилия была известна в русских источниках с XV века: *Данило Давидович Борода Бибииков*, 2-я половина XV в. (Веселовский. Ономастикон); *Бородин Иван Иванович*, подьячий Поместного приказа в 1645—1666 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975). Ср. город *Бородино* в Красноярском крае, получивший такое название потому, что сюда были выселены мятежные солдаты Семеновского полка (после восстания в 1820 году), участвовавшего в Бородинском сражении в 1812 году.

— *Бородинское поле* — памятник русской воинской славы, вблизи города Можайска. На Бородинском поле, большом открытом пространстве, включавшем территорию нескольких деревень, 24 августа (старого стиля) 1812 года началось знаменитое сражение

русской армии под командованием М. И. Кутузова с войсками Наполеона. Русские войска потерпели поражение, но по признанию самих французов, стяжали славу непобедимых. В настоящее время Бородинское поле — это военно-исторический музей-заповедник.

Бородинский хлеб — особый сорт заварного ржаного хлеба с пряностями.

бород^инцы, бород^инец

бород^инский, -ая, -ое

Бронницы (1781). Город в Московской области. Убедительная связь этого топонима с апеллятивом *бронники* (*броннич*) «ремесленники, изготавливавшие боевую броню и другие изделия из металла». В пользу этого предположения свидетельствует такое обстоятельство: в XV—XVII веках в Бронницах и соседнем селе Синькове изготавливали боевые кольчуги из кованных стальных колец и цепей; цепочки из золота, серебра, меди и др. металлов (Художественные промыслы РСФСР. Справочник. М., 1973). Производство цепочек существует и сейчас на местной ювелирно-художественной фабрике. Изменение конечного *-ичи* (из *бронничий* «относящийся к бронникам») в *-ицы* вполне закономерно, т. к. город находится в зоне бывших цокающих рязанских говоров.

Попытка объяснить топоним из личного мужского имени *Бр^оня* (из *Бронислав*) кажется надуманной и абсолютно не аргументирована.

броннич^ане, броннич^анин, броннич^анка

бронницкий, -ая, -ое

Продолжение следует

Самара и Жигули

Е. С. ОТИН,

доктор филологических наук

Говоря о географическом имени *Самара*, относящемся к двум левым притокам рек — Волги и Днепра, известный наш ономаст В. А. Никонов констатировал, что происхождение названия *Самара* не известно, как и не известно, родственны ли названия этих притоков между собой или тождество — простое совпадение. Он также отрицал возможность ираноязычного и тюркского происхождения этого названия (Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 365). Между тем тщательное изучение самих названий и географических особенностей объектов, а также воссоздание процессов называния, приведших к образованию этих омонимичных гидронимов, убеждают нас в их «одноприродности» — языковой и ономазиологической.

Волжский топоним *Самара* с точки зрения обозначения одного и того же географического объекта связан также с названием гор на Волге (оронимом) *Жигули*, или *Жегули*. В настоящее время это разговорный вариант первичного описательного названия *Жигулевские горы*.

Они находятся на правом — нагорном берегу Волги, в северной части Самарской луки, представляющей собой большую (свыше 200 км) излучину Волги, между Усольскими и Сокскими горами. Раньше они были известны как *Яблонные горы*. По свидетельству русского путешественника и натуралиста, руководившего в конце 60-х годов XVIII века экспедицией Академии наук в Поволжье И. И. Лепехина, такое наименование они получили оттого, что на их склонах «довольно растет диких яблоней» (Дневниковые записи путешествия.., 1771—1805 гг.).

Характерной особенностью гидрорельефа этой территории Поволжья является то, что в западную часть Самарской луки справа впадает река Уса, чье русло настолько сближается с нижней частью волжской петли, что образует узкий перешеек (2,5 км), где издавна существовал волок. Сейчас на его месте находится населенный пункт Переволока. «Волга и Уса почти замыкают Самарскую луку в водное кольцо...» (Емельянов М. А. Жигули и «кругосветка». Куйбышев, 1936. С. 7). *Самарской лукой* называлась не только сама излучина, но и ограниченная этим

кольцом территория. Как увидим, последний момент очень важен для установления этимологии топонима.

Указанная географическая реалия и определила выбор имени. В тюркских языках имеется нарицательное существительное (апеллятив) *самар* со значениями «седло», «мешок», «таз», «кувшин». С одним из них данный апеллятив мог перейти в разряд тюркских народных географических терминов, обозначающих излучину реки, крутую ее часть. Многие подобные термины вначале удерживают свои метафорические значения, которые с течением времени слабеют и нередко вовсе утрачиваются (например: *азак* «нога» → *азак* «устье реки», *баш* «голова» → *баш* «исток реки» и др.). Очень часто происходит топонимизация этих терминов — без изменения их формы или с суффиксацией производящих основ. Например: тюркское *саур* «круп лошади» → *Саур-Могила*, возвышенность в Северном Приазовье; *хомут* «подковообразное русло реки» → речка *Хомутец*, левый приток Воронежа, правого притока Дона и т. д. В настоящее время как географический термин слово *самар* уже не употребляется. О существовании его в прошлом теперь можно судить лишь по нескольким случаям отражения его в топонимии, и он «реконструируется» на основе этих топонимов.

Земли, охваченные волжской излучиной, тюркоязычное население Поволжья назвало *Самаром* «мешком». Так, но только с метафорическим значением «седло», могла быть названа и сама излучина. Позже название *Самар* было перенесено и на левый приток Волги, впадающий в Самарскую луку. Существовал перенос названия по смежности объектов (топонимическая метонимия) без дополнительного суффиксального оформления. Сравним аналогичные топонимы: горная система *Урал* → река *Урал*; урочище *Елец* (от *елец* «роща, дубовый или еловый лесок») → речка *Елец* в бассейне Дона и т. д. Став названием реки, топоним *Самар* со временем приобрел окончание женского рода, типичное для русских речных имен. По реке *Самара* был назван и город в ее устье (тот же контактный перенос названия, но уже с реки на поселение). Основанный в 80-е годы XVI века населенный пункт Самара в 1935 году был переименован в Куйбышев. Прежнее историческое имя ему было возвращено в 1991 году. От названия урочища *Самар* образовался и составной гидроним *Самарская лука*, т. е. излучина, огибающая урочище *Самар*.

Топонимная основа *самар-* встречается не только в бассейнах Волги и Днепра, но и на других территориях. Это, например, *Самара* в бассейне Осереда, левого притока Дона (между речками Данило и Гаврило); *Самарчик* в Крыму (впадает в юго-восточную часть Каркинитского залива); крымская речка *Самарли* (южнее

Акташского озера); *Самарка* в бассейне Береки, правого притока Северского Донца; *Самарка* — приток Невы; *Самара* — левый приток Амура и др.

Примечательно, что вторая по длине и площади водосбора Самара — левый приток Днепра (первая — Самара Волжская), протекающая по Донецкой и Днепропетровской областям Украины, в своем среднем течении тоже образует огромную петлю, которая в документах XVIII века, как и Самарская лука на Волге, именовалась *Великой лукой*, например, в «Росписи» И. Коломина (Летопись занятий Археологической комиссии. СПб., 1862. Вып. I. С. 61). Первоначальное название притока Днепра было мужского рода и точно повторяло форму географического термина *самар*. Например, в документе 1502 года: «на усть Самара у Днепра ж» (Памятники дипломатических сношений с державами иностранными. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и Турцией. М., 1984. Т. I. С. 377).

В «Книге Большому чертежу», составленной в 1627 году в Разрядном приказе, отмечаются колебания. В ней употребляется как старая форма мужского рода *Самар*, так и новая — женского *Самарь*. Последняя форма, весьма распространенная в XVII—XVIII веках, сохраняется до нового времени, конкурируя с вариантом *Самара*, который в конечном итоге оказался победителем. Трудно сказать, какой вариант — мужского (*Самар*) или (*Самарь*) женского рода скрыт в записях гидронима на картах России XVI — начала XVII веков, составленных иностранцами: *Somar f.* (от латин. *flumen* «река»), *Soma flu*, *Samar flu*; *Samar fl.* Последний вариант записи гидронима относится к Самаре, левому притоку Волги, а все предыдущие — к Самаре Днепровской (карта России И. Магина из итальянского издания «Географии» Птоломея, 1596 г.; карта России И. Магина из атласа 1600 г.; карта России Гесселя Герритса, 1614 г.; карта России Дженкинсона из атласа «*Spiegel der Werelt*» П. Гейнса, 1583 г.; карта России С. Нейгебауэра, 1612 г. — в кн.: Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899. Вып. I.).

Следует иметь в виду, что не вся «самарская» гидронимия может быть объяснена на основе реконструированного географического термина *самар*. Каждая *Самара*, *Самарка* (или *Самарчик*) нуждается в пристальном изучении с учетом всех языковых и внеязыковых условий их возникновения и формирования как географического имени на данной территории. В этом названии могут получить отражение разные реалии. Так, если топоним *Самар(а)* в бассейнах Волги и Днепра отразил седловидную изогнутость русел этих рек, то название реки *Самары*, левого

притока Амура, иного происхождения. Этот гидроним как бы в «обратном порядке» — название населенного пункта на этой реке. В устье этой Самары в 1865 году было основано село Самарское переселенцами-молоканами из Самарской губернии (Кириллов А. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей с включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. Благовещенск, 1894. С. 354). От названия этого населенного пункта и образовался амурский гидроним *Самара*. Имя села было осмыслено как производное от основы *самар-*, хотя на самом деле это перешедшее в топоним на новом месте поселения прилагательное из названия губернии (*Самарская губерния* → *Самарское*). Катализатором этого процесса имятворчества могли быть воспоминания об оставленной родине и левом притоке Волги — реке Самаре. Раз село *Самарское*, то река, на которой оно находится, вполне может быть *Самарой* (как город *Волжский* — на *Волге*, город *Донской* — в верховье *Дона*, станица *Медведицкая* — на реке *Медведице*, правом притоке *Дона* и т. п.).

Таким образом, объяснить происхождение дальневосточного гидронима *Самара* означает раскрыть, восстановить причины его появления, т. е. уяснить его этимологию, как писал В. А. Никонов, на основе другого названия сопредельного географического объекта. Какая-то часть *Самар* (например, *Самарка* в бассейне Береки, правого притока Северского Донца, и *Самара* в бассейне Осереда) могли быть перенесены на новую территорию в процессе миграции населения, например, переселенцами из присамарских сел бывшей Екатеринославской губернии (в селениях, расположенных в бассейне Осереда, на юге Воронежской области, и сейчас проживает много украинцев).

Самарская лука у русского населения Поволжья получает также название *Жегуля*. Это слово как нарицательное существительное — народный географический термин в говорах не засвидетельствовано и тоже восстановлено нами на основе топонима. Оно отразилось и в сопредельной гидронимии Дона. Например: *Жегуля* — узкий и маловодный ерик, протока Дона (возможно, его старое русло) в районе устья Северского Донца, обтекающая станицу Кочетовскую. На картах и планах конца XIX — начала XX веков *Жегуля* изображена как длинная и узкая протока между Доном и Сухим (или Спорным) Донцом. Повидимому, именно этот диалектизм лежит в основе названий *Жигули*, *Жигулевские горы*. Этот топоним связывали и с именем легендарного разбойника Жигулина (Журнал Министерства внутренних дел. СПб., 1838. Ч. XXVII. С. 74. Отдел «Смесь»), и с *жиган* «опытный, тертый острожник» (Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 140), т. е. *Жигули* — это

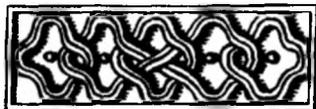
место скопления волжских разбойников, нападавших на купеческие суда. В последнее время появилась гипотеза о происхождении топонима от тюркского слова *джигули* «запряжной рабочий, бурлак», которое могло относиться и к горам, и к населенному пункту (Русская речь. 1970. № 1. С. 101).

Реконструированный нами народный географический термин *жегуля* (*жигуля*) этимологически связан с такими диалектными словами, как *жигулистый* «тонкий, длинный» (так говорят и о гибком, ловком, быстром, проворном человеке), *жгуль* «узел белья», *жегулиться* «зябнуть», *жгулик* «скорчившийся от холода человек» (Словарь русских народных говоров. Л., 1972. Вып. 9. С. 93, 99, 167), а также со словом *жгут*, в котором Ж. Ж. Варбот усматривает древний индоевропейский корень *ghegh-«гнуть» (Этимология русских диалектных слов. Свердловск, 1978). Географический термин *жегуля*, на базе которого сформировался топоним, имел значение «изгиб, извилина, речная лука». Родственную основу *жигул'*- содержит и отпрозвищная русская фамилия *Жигулин*.

Историю образования географического имени *Жигули* (*Жегули*) можно представить в следующей последовательности: географический термин *жегуля* → *Жегуля* (изгиб Волги) → название села *Жегули*, где форма множественного числа, как и суффикс в других названиях, выполняет роль топонимобразовательного средства, → *Жегулевские горы* (сравните еще другие горы на возвышенном правом берегу Волги, получившие свои названия от расположенных там селений и урочищ: *Щучьи горы*, *Ундарские*, *Городищенские*, *Новодевичьи*, *Усо́льи*, *Кашпурские* и др.) → *Жегули*, или *Жигули* (производная форма от оронима по типу: *Карпаты* от *Карпатские горы*, *Соловки* от *Соловецкие острова*, *Командоры* от *Командорские острова* и т. д.).

Таким образом, возникшие в районе Самарской луки топонимы — тюркский *Самар(а)* и русский *Жигули* (*Жегули*) содержат корни, этимологическое значение которых отразили местные географические реалии: похожий на мешок огромный участок территории, заключенный в излучине Волги между ее правым берегом и рекой Усой (*Самар*), и более чем двухсоткилометровый изгиб самой Волги (*Жегуля*, но возможно и *Самар*).

Донецк



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И НАРОДНАЯ ЗАГАДКА

В. П. ВЛАДИМИРЦЕВ,
кандидат филологических наук

По укоренившемуся историко-литературному недоразумению Ф. М. Достоевский не считается сколько-нибудь фольклорным автором. Между тем еще В. Г. Белинский раздраженно упрекал Достоевского в чрезмерном... фольклоризме. Имелась в виду «странная» и «непонятная», по словам критика, повесть молодого сочинителя «Хозяйка», до предосудительности «сильно» «натертая» «лаком русской народности» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. X. С. 351). Упрёк оказался в итоге роковым. Сомнения не оставляли исследователей «Хозяйки». Избранное, животворное для романиста значение народнопоэтических начал его «экспериментальной» повести, отринутой Белинским, не выяснено до сих пор. На эту тему почему-то (пиетет к великим теням прошлого?) не принято говорить. Будто зря, из пустой прихоти и заблуждений, излил тогда Достоевский всю свою жадную приязнь к родному фольклорному слову...

Как ни суди о «Хозяйке», одно бесспорно и видимо невооруженным глазом: ее создатель искал и находил вдохновение в повседневной народной традиционной поэтико-речевой культуре. Поражает фольклорное многообразие повести. Тут соединилось, похоже, все, от демонологических суеверий и постоянных песенных эпитетов до волшебной сказки и раскольничьих и разбойничьих славословий «волюшке». Среди художественно реализованной круговерти этого «всего» едва не ускользает от внимания народная загадка.

В русском фольклоре нет жанрового отдела, к которому бы Достоевский не прикоснулся творчески. И загадка, о поэтическом интересе к которой писатель впервые «проговорился» в «Хозяйке», — не лишнее тому подтверждение. Народные герои повести Катерина и Мурин, волгари, очутившиеся по интриге сюжета в Петербурге, изъясняются между собой в иносказательной — способом тайного языка и загадки — речевой манере. Ставят себя

относительно друг друга в положение загадчика и отгадчика. (Такая диалогическая цепочка-сценка является нормативным обстоятельством загадывания.) Сначала в эти отношения вступает «колдун» Мурин: «У кого какая загадка и думушка, пусть по его же хотенью и сбудется!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 306; далее цитируется это издание лишь с указанием тома и стр.). Их подхватывает Катерина: «Загадай, старина! <...> Угадай... в каком синем небе, за какими морями-лесами сокол мой ясный живет, где, да и зорко ль, себе соколицу высматривает...» И вновь в окольную речь и обиняки — на основе того же народного слова-понятия «загадать» — пускается Мурин: «Давай загадаю, всю правду скажу» (1; 307, 308).

Собеседники не прибегают к простому разъятию загадки на симметричные, предполагаемые жанром, вопрос и ответ (Что это? Это есть то-то). У Достоевского иной творческий расчет: незаметным образом, по ходу сюжета, обратить загадывающе-угадывающую речь в поэзию своей повествовательной техники, создать вокруг героев ауру загадочности (эффект сфинкса). Писатель наполняет диалог Катерины и Мурина «веществом» гадательности и иносказательности не только для того, чтобы отдать дань романтической риторике. Лишь при взгляде извне «загадочное» в речах Мурина и Катерины может показаться исключительно издержкой говорливости. Изнутри видится более существенное: «слово («загадка». — В. В.) найдено», и Достоевский впрямую сводит словесно-фольклорные представления о загадывании с людскими характерами и судьбами.

Действительно, «странные» и «непонятные» (благодарно вспомним впечатления Белинского от повести) сюжет и характеры «Хозяйки» развернуты как многоярусные лабиринтообразные загадки. «Странное» (синонимично загадочному), недоступное для сиюминутного понимания намеренно сделано художественным принципом повествования. Мы знаем, что «остранение не только прием эротической загадки-эвфемизма, оно — основа и единственный смысл всех загадок» (Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1983. С. 21). Достоевский — мастер остранения. Картины петербургской русской жизни в «Хозяйке» даны остраненно, глазами гадающих о таинственном смысле бытия народных и близких к народу людей. Характеры самих этих героев повести — треугольник из Катерины, Мурина и Ордынова — головоломно загаданы читателю, и оттого истолковательные точки зрения на них порой расходятся до противоположности.

Еще совсем юным Достоевским сказано основополагающее и почти клятвенное: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял

время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (из письма к брату Михаилу от 16 августа 1839 года). Это признание обязывает не упускать его из виду никогда. Писатель понимал бытие человеческого духа как загадочнейшее явление мира. Возложив на себя — пожизненно — бремя разгадчика, он многое творчески почерпнул из сродного ему искусства народного загадывания-отгадывания. Прежде всего, приемы остранения, своеобычной игры в странности и несообразности, иносказания и недоговоренности, перестановки и замены одного другим, фантастическую путаницу всего и вся (см.: Митрофанова В. В. Русские народные загадки. Л., 1978. С. 106, 107 и др.). Рубежное значение «странного» рассказа о «странных» зловключениях Катерины-Хозяйки и ее спутников очевидно.

За повестью «Хозяйки», таким образом, важная для ее автора поэтико-лексическая заслуга. Отсюда начались творческие скитания народного слова-образа «загадка» (с производными) по сочинениям Достоевского («Нечочка Незванова», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»). Всякий раз, поэтически видоизменяясь и обогащаясь, слово обретало в романах нужную писателю неповторимую смысловую окраску. Так, сновидческие фантазии Родиона Раскольникова отмечены по-фольклорному зловещей химерой некоей вселенской «загадки»: «Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. „Это от месяца такая тишина,— подумал Раскольников,— он, верно, теперь загадку загадывает“» (6, 213). В другом случае писатель остраняет — при идентичной народно-словесной поддержке — художественную характеристику персонажа: «Иван (Карамазов.— В. В.) — загадка» (14, 209).

Степень изученности творчества Достоевского высока. Тем невероятней, что записанные Федором Михайловичем с голоса народные загадки не замечены никем. Под видом диалогической всякой всячины они вошли в Сибирскую тетрадь и растворились там. Но не настолько, чтобы утратить первородство. Возьмем одну из них, наиболее, пожалуй, по-достоевски значимую. Под номером 468 в Тетради помещен «разговор»: «И чего тут нет, в Питере! Отца-матери нет» (4, 248). В нем узнается инвариантная (неизменная) загадывающе-отгадывающая цепочка из вопроса и ответа: «Чего нет в Питере? Отца-матери». Загадки этого типа (вопрос-шутка каламбурного свойства) широко распространены. Народ называет их «обманчивыми». Они составили особый отдел в изданном в 1876 году в Петербурге сборнике Д. И. Садовникова «Загадки русского народа». Сюда попали миниатюры, вариативно совпадающие с записанной Достоевским и тем подтверждающие ее фольклорность.

Любопытен выбор фактурного предмета для записи. В тысячеверстной дали от столицы ссыльнокаторжный писатель неожиданно для себя натолкнулся на загадку-шутку о Питере. Это было маленьким открытием. Его ранние, досибирские произведения — своего рода литературная петербургиада. Уже в те 1844—1849 годы Петербург стал частью души Достоевского. И естественно, что он, летописец и психолог столичной жизни, не упустил представившегося в остроге шанса пополнить запасы своих петербургских материалов-впечатлений. Так случилась тетрадная запись 468. Творческая редакция, которой Достоевский подверг шуточную загадку, характерна: ее исконная вопросоответная форма изменена — народное каламбурное слово представлено в роли глубокомысленной афористической оценки Петербурга (образ обездоленности в царственном городе). Фольклорная находка не осталась втуне. В «Преступлении и наказании», самом «петербургском» романе Достоевского, загадка о Питере вложена в уста Миколки Дементьева (из рязанских мужиков, на отхожем красильно-малярном промысле в Петербурге), как олицетворенный «глас народа» — народное резюмирующее суждение о столице (6, 133).

...Право же, среди источников творчества Достоевского народная загадка занимает далеко не последнее место.

Иркутск

ИЗ ЖИЗНИ ЗАГЛАВИЙ

Д. Н. МЕДРИШ,
доктор филологических наук

Роль заглавий в поэтической структуре художественного произведения чрезвычайно важна, их история занимательна, а судьба — поучительна. Нередко лишь в широком контексте народной культуры смысл заглавия (а следовательно, в конечном счете, и всего произведения) раскрывается в должной мере.

Рассмотрим, для примера, два случая, один — из рассказов раннего Чехова, другой — из творчества позднего Толстого.

1. «Хамелеон»

В словарях отмечено два значения слова *хамелеон* — прямое («древесная ящерица, способна менять окраску в зависимости от температуры и освещения; при ярком солнце темнеет») и переносное («человек, часто и беспринципно меняющий свои мнения и взгляды применительно к обстановке»). Сегодня наш современник на вопрос, знакомо ли ему это слово, ответит утвердительно и в качестве источника своей осведомленности назовет хрестоматийный рассказ А. П. Чехова. Между тем у Чехова слово *хамелеон* присутствует только в метафорическом заглавии, в тексте рассказа оно не встречается ни разу. Конечно, слово это, пришедшее в европейские языки из греческого (через латинский), в литературе встречалось и до Чехова, например у П. А. Вяземского и А. И. Герцена. Однако читатели юмористического еженедельника «Осколки», в котором рассказ «Хамелеон», с подзаголовком «сценка», 8 сентября 1884 года был впервые опубликован, в большинстве своем вряд ли читали Герцена и Вяземского, они предпочитали литературу иного рода. А ведь вынося слово в заглавие, без каких-либо разъяснений его в тексте, Чехов явно полагался на то, что *хамелеон* — слово, знакомое массовому русскому читателю. (Именно на такую аудиторию ориентировались «Осколки»; случайное свидетельство упоминает одного из таких читателей «Хамелеона» — «сапожника из села Борисполя» — см.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1983. Т. 3. С. 550).

На что же рассчитывал автор, подписавшийся псевдонимом

А. Чехонте, давая рассказу такое заглавие? Во всяком случае, не на житейские наблюдения читателей: обладающее столь удивительными свойствами пресмыкающееся в наших краях не водится и не водилось. То, что хамелеон попал в «Толковый словарь» В. И. Даля, свидетельствует о бытовании слова, однако не из греческих же или латинских текстов непосредственно проникло оно в живой великорусский язык. Существовали, следовательно, иные источники. Какие?

Уже в древнерусской письменности встречается хамольвь — хамелеон (см.: Срезневский И. М. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1903. Т. 3. Стлб. 1360). В начале XVIII века в популярные издания проникает притча о хамелеоне. В 1712 году, под надзором Петра I, выходит в свет сборник басен «Зрелище жития человеческого, различными животными и старожитийных людей примерами всякому добрых нравов в научение представлено»; в книге было 127 гравюр. Под номером 57 здесь представлена притча, озаглавленная «О хамелеоне звере», который «во всякие цвета изменяется», с приложением иллюстрации — гравюры. Книга разошлась и во множестве рукописных копий, в которых материалы этого сборника иногда смешивались с текстами из другого, столь же популярного сборника — «Эзоповы притчи», а отдельные сюжеты и иллюстрации из «Зрелища жития человеческого...» вскоре обрели самостоятельное существование в различных лубочных изданиях. Так, в знаменитых «Русских народных картинках», собранных Д. А. Ровинским, под номером 259 воспроизведена, в зеркальном изображении, гравюра «О хамелеоне звере» (см. об этом: Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати 1708 — январь 1825 годов. М.-Л., 1955. С. 57—59, 508—510; Тарковский Р. Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста (спецкурс). Л., 1975. С. 32). Отметим, что книга Ровинского увидела свет в 1881 году — чеховский «Хамелеон» опубликован три года спустя.

Популярность лубочных изданий можно, вероятно, объяснить дальнейшее проникновение рассказов о хамелеоне в народный быт, прежде всего через гадательные книги и сонники. По свидетельству историка культуры Б. С. Кривулина, «ни в одной стране не выпускалось такое количество совершенно разнообразных сонников, как в России XIX века. Это была поистине народная литература...» (Кривулин Б. С. О снах, их толкователях и сонниках. С. 40). Сошлёмся ещё на одно свидетельство: «Мартын Задека, сонник которого держал в руках Пушкин, и до недавних пор, я помню из моего детства, ходовая на Москве книга...» (Ремизов А. М. Сны Пушкина [1937] // Русская речь. 1993. № 3.

С. 15),— вспоминает младший современник Чехова, детство которого приходится как раз на время создания «Хамелеона».

Любой современник Чехова мог раскрыть книгу (например, «Справочный энциклопедический лексикон сновидений. Более 3000 объяснений явлений сна. Собирал в течение 66 лет добрый старичок из Утиной улицы. Издал в свет наследник доброго старичка из Утиной улицы, по его завещанию». СПб., 1862; упомянутая выше статья Б. С. Кривулина цитировалась по репринтному воспроизведению этого издания — М., 1991) и на стр. 330—331 можно прочитать такое толкование сна: «Хамелеон, изменяющий в вашем присутствии постоянно свои цвета и оттенки,— значит, что вы предадитесь самой отчаянной нерешительности». Сонники использовали — и закрепляли — повсеместно бытовавшие представления. Иначе вряд ли, например, появился бы на географической карте Крыма мыс Хамелеон, который «меняет свою окраску в зависимости от облачности неба» — см.: Мурзаев Э. М. Образ места//Русская речь. 1993. № 4. С. 91).

Любопытно, что, наделив рассказ метафорическим заглавием — «Хамелеон», автор использует и реальные сведения об этом пресмыкающемся. Чеховский персонаж не только «логикой» своего поведения, но и внешним видом напоминает хамелеона. Первое, что мы узнаем о полицейском надзирателе Очумелове, это то, что он «в новой шинели», последнее,— что он продолжает свой путь по базарной площади, «запахиваясь в шинель». Когда в толпе высказывается предположение, что собака, которую Очумелов собирается истребить, генеральская, следует реакция: «...Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождём...» (Кстати, в речи автора везде *шинель*, в речи персонажа — *пальто*.) И снова, когда, после ряда перипетий, чаша весов опять качнулась в «генеральскую» сторону: «— Гм!.. Наденька-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит...» Как тут не вспомнить способность пресмыкающегося — хамелеона — «менять окраску в зависимости от освещения, температуры и при раздражении» (БСЭ. М., 1978. Т. 28. Стлб. 528—529). Очумелов не только *подобен* хамелеону — он как бы на наших глазах *превращается* в хамелеона.

Так заглавие, восходящее к веками бытовавшему в массовом сознании образу, отозвалось не только в фабуле рассказа, но и во всей его образной структуре.

2. «Хаджи-Мурат»

Между сделанной 2 марта 1852 года первой записью о событиях, связанных с Хаджи-Муратом, и завершением повести

о нём — 52 года. Вероятно, повесть вообще не была бы написана (или получилась бы совсем не такой, какой была напечатана, уже после смерти автора), если бы не случай, о котором в июле 1896 года сделана дневниковая запись: «Вчера иду по передвонному черноземному пару. Пока глаз окинёт, ничего, кроме черной земли,— ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарника (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеет. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, де отстоял ее» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1985. Т. 22. С. 48). Два образа сразу, с первоизданной естественностью прочно соединились в сознании писателя, и в планах его появилась запись: «Татарин на дороге. Хаджи-Мурат». Сначала предполагалось рассказать только о смерти вольнолюбивого горца; исходное название произведения, известное по первым его версиям,— «Репей». И только в ходе дальнейшей работы над повестью, завершённой в 1904 году, появилось её окончательное заглавие — «Хаджи-Мурат».

Творческая история «Хаджи-Мурата» изучена весьма основательно. Однако некоторые обстоятельства, повлиявшие, как нам представляется, на окончательный выбор заглавия, все же остаются неучтёнными.

Исторические корни сдвоенного толстовского образа уходят в глубинные пласты мировой культуры. Сам принцип художественного сопоставления *растение — человек* в мировой литературе встречается нередко, причём восходит он и к народной поэзии («психологический параллелизм»), и к богословско-философским памятникам культуры. Так, в «Шестодневе» Иоанна Экзарха Болгарского, со ссылкой на пророка Исайю, говорится: «Когда увидишь на траве цветок, подумай о человеческой природе» (цит. по: Русская речь. 1993. № 2. С. 71). И тем не менее обращает на себя внимание и нуждается в объяснении та спонтанность, мгновенность и конкретность ассоциативной реакции, которую вызвал у Толстого вид подкошенного репья. Не просто цветок — репей, не человек вообще — Хаджи-Мурат

Форма репья, его окраска издавна придавали этому цветку символический смысл. Перечисляя амулеты, связанные с древнеегипетским культом мертвых, В. Вундт выделяет репей, «который со своими колючками представлял, может быть, некогда прямое изображение брызнувшей крови, а потом перешёл в символ крови Изиды» (Вундт В. Миф и религия. Перевод со 2-го, вновь

переработанного издания. Спб. [б/д]. С. 205). Отмечена прямая связь двуединого толстовского образа «с фольклорными образами из горских (чеченских и дагестанских) песен и преданий» (Далгат У. Б. Литература и фольклор. М., 1981. С. 273). В повести о Кавказе вполне естественно обращение к кавказскому фольклору (см., например: Саттаров Г. Ф. Тюркская ономастика в повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» // Л. Н. Толстой и проблемы современной филологии. Казань, 1991. С. 125—131). Существует, однако, закономерность: в художественной литературе традиции иноязычного фольклора наиболее полно воспринимаются тогда, когда они пропущены (сознательно или непреднамеренно) сквозь призму собственной, отечественной народной культуры — хотя бы уже для того, чтобы быть опознанными как фольклорные.

Так, сближению двух понятий (репей — кавказский горец) изначально способствовало то, что одно из русских диалектных названий репейника, использованное Толстым уже в дневниковой записи, — *татарин* (языки тюркских народов Кавказа — впрочем, без должных на то оснований — именовались татарскими). Это отмечено давно. Добавим, что дело не только в экзотическом наименовании. В русском обряде именно это растение наделялось особыми свойствами; оно использовалось как чудесное средство в борьбе с невзгодами и с самой смертью. По свидетельству В. И. Даля, «на видах растения *татарин* народ заговаривает кровь, червей, лихорадку и пр. Стебель пригибают и прикручают, не ломая и говоря: „Изведешь, отпущу; не изведешь, с корнем изжену“. Коли заговор сделает своё, то идут в поле и отпускают татарник» (Даль В. И. Толковый словарь. М., 1978. Т. I. С. 107).

Обряд, как видим, основывался на цепкости и живучести репья-«татарина». Словом, нетрудно объяснить, отчего наименование стойкого кустарника Толстой вынес в заглавие повести. Труднее ответить на вопрос, отчего он от этого заглавия отказался, и одно название — «Репей» — сменилось другим — «Хаджи-Мурат», в котором упоминание кустарника как будто утеряно. Не таится ли ответ в самом имени героя повести, в тех ассоциациях, какие оно способно пробудить?

Имя героя художественного произведения, к тому же вынесенное в заглавие, — образ, даже если оно принадлежит реальному человеку и автором, следовательно, не подобрано. В этом случае, видимо, происходит обратное воздействие: не сюжет определяет выбор имени, а имя персонажа воздействует на сюжет. Замечено, например, что, наряду с использованными в повести подлинными песнями горцев, Толстому понадобилась ещё одна, сочинённая им самим (во всяком случае, «она совершенно не известна в горском фольклоре» — Далгат У. Б. Литература и фольклор.

С. 288). Это песня Патимат, матери Мурата, рассказывающая о том, как она, выделяя его из всех своих детей, самоотверженно защитила свое любимое чадо от ханского своеволия. Выскажем предположение, что песня эта, занявшая столь заметное место в сюжете повести, была подсказана именем главного героя: Мурат (Мурад), в переводе с арабского, значит — *желанный*.

Существует, как нам представляется, ещё один фактор, определивший окончательное название повести. Вспомним, что Толстому важно было в заглавии представить обе части сравнения, чтобы в сознании читателя возник двуединый образ жизнестойкого растения и нескгибаемого человека. Именно к такому заглавию он и пришёл. В русской народной речи один из видов колючей травы с ярко-красными цветками, наряду с наименованиями *репей*, *будяк*, *татарин*, имеет еще одно — *мурат* (см.: Даль В. И. Толковый словарь. Т. I. С. 106; Т. IV. С. 598). Возможно, как раз эта ассоциация (имя героя — название растения) повлияла на ход мысли Толстого. Не исключено также, что именно этим объясняется первоначальное, зафиксированное в дневниковой записи восприятие: *репей — татарин — мурат*. Так имя героя, раскрыв свою образную многозначность и ассоциативный потенциал, обрело право на статус заглавия: «Хаджи-Мурат».

Волгоград



НЕПРИГОЖЕЕ ЛИЦО

А. Н. ШУСТОВ

Слово *харя* относится к разряду просторечных, бранных. В одном из своих стихотворений (по мотивам «Слова о полку Игореве») поэт В. А. Соснора описал поединок касожского князя Редеди с русским князем Мстиславом Храбрым. В уста касога автор вложил такое оскорбление, брошенное им русским дружинникам: «Ваш князь — недоносок, /И харя вдобавок».

Что же означает слово *харя*? Откуда оно пришло в русский язык?

Авторы «Краткого этимологического словаря русского языка» (М., 1971) по поводу него пишут: «Происхождение не ясно». Попытку объяснить его сделал М. Фасмер. Говоря об источниках слова *харя*, он справедливо отвергает сближение его со средне-латинским *sara*, восходящим к греческому (в значении «голова»), в также с польским *czakarada* (чудовище). Но и его собственная версия (возможное сокращение имени *Харитон*) ничем не подкрепляется. По мнению академика О. Н. Трубачева, скорее всего *харя* преобразовано из первоначального *ухаря* (от *ухо*), собственно: «ушастая маска» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. IV). В новейшем этимологическом справочнике подтверждается неясность происхождения. Но при этом появляется дополнительный нюанс: «Обычно объясняется как уменьшительно-ласкательное от *Харитон* (...). Не исключено (...), что является сокращением *Хавря/Хавронья*. В таком случае *харя* буквально — «свиная морда». Менее вероятно объяснение *харя* из *ухаря*» (Русский язык в школе. 1993. № 3. С. 127).

Действительно, *харя* — прежде всего — лицо, то есть «фасад» головы. «Ушастость» ее при этом никогда в речи не подразуме-

вается. В просторечии *харя* — это «неприятное, страшное лицо; рожа, морда», в том числе — животного (вспомним у А. Н. Майкова: «волчьи хари»; у А. Белого: «бараньи хари»). «Словарь Академии Российской» (1794. Ч. VI) фиксирует два основных значения для этого существительного: 1. «Речение, употребляемое из уничижения для означения дурного, непригожего, отвратительного лица»; 2. личина, маска. Применительно к этим значениям известный лексикограф Ф. Рейф в своих «Новых параллельных словарях» привел иноязычные эквиваленты (франц., немецк., англ.) слова *харя*: «страшное лицо» и «маска». Аналогично и в других языках. Ср., например, перевод на сербский язык: *ружно лице*, где *ружан* — «безобразный, гадкий, некрасивый, отвратительный».

А слово *ухарь* является производным от междометия *ух* (*ухать*). Означает оно: «отчаянный, удалой, бойкий молодец; сорвиголова» и изначально не несет в себе отрицательной портретной характеристики личности.

Что же касается связи слова *харя* с именем *Хавря/Хаврония*, то и эту версию следует считать ошибочной. Хотя *Хаврония* и восходит к соответствующим греческим существительным, но это — *свинья* «целиком», и поэтому свинья *морда* здесь совершенно не при чем. К тому же имена *Хаврония*, *Ховра* (и *Феврония*) не имеют производных *Харя*. И совсем уж невероятно, чтобы средневековые русичи бранились на греческом языке. Приведенная же В. И. Далем поговорка «Всякая харя (Хавронья) сама себя хвалит» — более позднего происхождения. В данном случае сближение слов *харя-Хавронья*, видимо, основано на внутренней «рифме», свойственной русскому фольклору.

Если же говорить об именах, то *Харя* — это уменьшительная форма от *Хариессы*, *Харисы*. По-гречески оно означает «изящная, красивая, милая», что совсем не вяжется с *харей-мордой* (Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1984).

Существительное *харя*, как уже отмечалось, издавна означало не только лицо. С развитием в средневековой Руси народного театра скоморохи широко использовали для характеристики своих персонажей различные маски. Первоначально они назывались просто — *личины*. Скоморохи, налагавшие «на лица своя личины различныя страшныя», вызывали гнев ортодоксальных церковников (Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963. С. 222), поскольку зачастую эти личины-маски представляли собой не только уродливые (стилизованнные) человеческие лица, но и морды животных (чаще всего козьи, то есть «дьявольские»).

Указом царя Алексея Михайловича от 1648 года такие народные представления категорически запрещались: «...а где объа-

вятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари (...) и те бы вынимать и, изломав, жечь» (Описание государственного архива старых дел. М., 1850. С. 296—299). Это гонение нашло свое отражение и в сочинении мятежного протопopa Аввакума, который рассказал в своем «Житии», как он сам, встретив скоморохов, «изгнал их, и хари и бубны изломал» (Робинсон. Указ. соч. С. 144).

Позже московский поэт XVII века А. Белобоцкий писал, обращаясь к себялюбцу, боящемуся смерти:

Вскуе хари не збрасаешь, лице красишь, самолюбче,
Или удоб ты не знаешь, иже сице адской муце.

Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.

Слово *харя* в значении «личина (маска)» зафиксировано в «Лексиконе трехязычном» Ф. П. Поликарпова (1704). В этом значении оно жило довольно долго — встречается и у Гоголя в его фольклорных малороссийских повестях: «Начнут, бывало, наряжаться в хари — боже ты мой, на человека не похожи!» (Вечер накануне Ивана Купала). О харях-масках для ряженных вспоминал позже писатель И. С. Шмелев в книге «Лето Господне» (глава «Крещенье»). Хари уничтожались потому, что лицо человека — это образ-подобие Божие и на него не следует надевать ничего «поганого», непотребного. После такой маски лицо надо было обязательно умыть святой водой.

Однако первичным значением слова *харя*, как это отмечалось в «Словаре Академии Российской», было все же «непригожее лицо». Видимо, это и послужило в свое время основанием для одной из ветвей князей Шаховских получить к своей звучной фамилии соответствующую приставку-прозвище: *Шаховской-Харя*.

В этом значении (а со временем — с усилением бранного оттенка) существенное достаточно широко употреблялось в литературных контекстах XVIII века. Например, у Д. И. Фонвизина: лиса-проповедница «с смиренной харею» (басня «Лисица-Кознодей»); у него же в «Недоросле» госпожа Простакова бранится на своих крепостных слуг: «воровская харя», «скверная харя» и др. Перешло оно и в XIX век. Вновь сошлемся на Гоголя: «Стара як біс. Харя вся в морщинах, будто выпотрошенный кошелек» (Майская ночь). Встречается *харя* и у многих других авторов, в том числе и в нашем столетии, но уже в основном как бранное: «Чего буркулы на меня, харя, выпятил?» (А. Белый. Серебряный голубь).

Историческим источником слова *харя* является старинное тюркское *qara*. В старославянском и древнерусском языках древнемонгольские начальные «h-», а с XIII века — «q-» и «k-» фонетически заменялись фрикативным «X-» (Менгес К. Г. Вос-

точные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979. С. 158). Отсюда произношение тюркского *qara*, как *хара* (например, *харалуг* в «Слове»). В монгольском и сегодня этот звук произносится и пишется как «х-» (см. Монгольско-русский словарь. М., 1957: слова с основой *хар/а/-*). Это звучание сохранилось в старинных монгольских топонимах: *Хара-Балгас*, *Хара-Нур*, *Хара-Хорин* (знаменитый *Кара-Корум*), *Хара-Хото* и мн. др. Позже в русском языке вместо начального «х-» (возможно, под влиянием татарского языка) утвердилось произношение «к-».

Тюркское слово *хар(а)/кар(а)* имело несколько значений, основными из которых являлись: «черный, темный, смуглый» (например, в словах: *карандаш*, *каракал*, *каракуль*, *каракалпак*, *карий*, *Карабах...*) и «ужасный, плохой, неприятный» (например, в слове *каракули*). Множество производных от этой основы с отрицательными оттенками приведено в Монгольско-русском (М., 1957. С. 512—518) и Татарско-русском (Казань, 1988. С. 138—140) словарях. Вспомним, как штабс-капитанша Снегирева из романа Ф. М. Достоевского говорит об Алеше, «переводя» первую половину его фамилии на русский язык: «Ну *Карамазов*, или как там, а я всегда [говорю] *Черномазов*» (курсив мой. — А. Ш.).

Можно привести и другие примеры русских фамилий, образованных от того же тюркского корня. Знаменитый русский писатель и историк Н. М. Карамзин — это *qarams/z/y* «чернявый» (Унбегаун Б. О. Русские фамилии, М., 1989. С. 293). А вот история происхождения фамилии известного русского адвоката Н. П. Карбачевского: «Во время завоевания Новороссийского края (...) каким-то русским полком был забран турецкий мальчик (...) Фамилия ему была дана от слова «Кара» — «Черный». Этот турчонок, Михаил Карапчи (...), принял с крещением фамилию *Карбачевский*» (Вопросы истории. 1993. № 6. С. 46).

Займствованное из тюркского существительное *харя* в то же время является собственно русским лексическим образованием, поскольку в тюркском *хар(а)/кар(а)* — это прилагательное, в данном случае в значении «гадкий, плохой». Его появление в русском языке по фонетическому признаку следует отнести к XIII—XIV векам, то есть к начальному периоду золотоордынского ига, когда неприличные для славян смуглые монголоидные лица кочевников-завоевателей казались русским неприятными, страшными, «уродливыми». Отсюда и негативный оттенок слова — займствованное у неприятеля, оно служило для его же характеристики. Здесь уместно привести небольшую историческую параллель. Как известно, французское выражение *cher ami* (*шер ами* — любезный друг) превратилось в русское просторечно-бранное *шерамыга*,

чему в значительной мере способствовал внешний вид интервентов, бежавших из России в 1812 году.

Отметим, кстати, что мысль о тюркском источнике слова *хара* еще 150 лет назад промелькнула в русском научном издании, но, к сожалению, осталась никем из филологов не замеченной (см.: Плюшар А. А. Энциклопедический лексикон. СПб., 1836. Т. 7. С. 577).

Что же касается брани князя Редеди, приведенной нами в начале статьи, то это чистейший поэтический вымысел, без всякой «восточной экзотики», поскольку в адыгейском языке (в русских летописях касогами называли черкесов-адыгов) отсутствует слово *хара/кара*, а легендарный поединок князей состоялся в XI веке, то есть еще в домонгольский период.

Санкт-Петербург



СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПО ОШИБКЕ

Д. С. СЕТАРОВ,
доктор филологических наук

В любом языке встречаются слова и выражения, возникшие по ошибке. Они, как правило, появляются в результате различного рода аналогий, влияний языкового и внеязыкового характера и некоторых других, более курьезных явлений. В научной и учебной литературе хорошо описан процесс народной этимологии, то есть стихийного сближения совершенно разных слов, переосмысления слова без реально-логической мотивации.

Ошибки могут произойти при калькировании иноязычных слов, чаще всего в связи с неверным пониманием состава слова в языке-источнике. Хрестоматийным стал пример, описанный Л. А. Булаховским (Введение в языкознание. М., 1953. С. 126) и Ю. В. Откупщиковым (К истокам слова. М., 1973. С. 179). В переводных памятниках древнерусской письменности неоднократно упоминаются *лежаги*, *лежахи*, *лежасы* морьския. По параллельным греческим текстам видно, что речь идет о китах. Древнерусские переводчики, по-видимому, греческое слово *kētos* «кит»

ошибочно связали с глаголом *keitai* «лежит». Так появилась ложная калька *лежага*. Этому смещению слов содействовало то обстоятельство, что в новогреческом *e* и *ei* произносились как *i*: *kite* «лежит», *kitos* «кит». С ошибкой связано происхождение и литовского названия кита *baĩgzuvė* (*bangà* «волна» + *zuvė* «рыба»). При калькировании немецкого *Walfisch* «кит» (*wal* — древнее название кита + *Fisch* «рыба») в литовском языке немецкое *wal* ошибочно было воспринято как *Welle* «волна» или *wallen* «волноваться (о море)».

Ошибкой при калькировании можно объяснить происхождение названия *кролик*: латинское *cuniculus* «кролик» ← *cuniculus* «подкоп» (букв. «животное, делающее подкоп») германцами по созвучию было воспринято как уменьшительная форма к *kuning* (*koning*) «король». В польском языке название этого животного *krolik* является калькой средневерхнемецкого *kuniklīn* «маленький король». Из польского языка слово *кролик* проникло и в русский язык.

На Каспийском и Черном морях белого или серобурого пеликана называют *баба-птица* (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. I. С. 32). Даль название птицы приводит в одном словообразовательном гнезде с *баба* «женщина, жена», хотя к этому просторечному или диалектному слову оно не имеет никакого отношения. Название птицы является полукалькой тюркского *babá kuşı* «пеликан» (букв. «птица-старик» ← тюрк. *babá* «отец», «дед», «старик» + *kuş* «птица»). Пеликан мог получить такое название по своему белому или серобурому цвету, напоминающему седобородого старца, и за медленную, вперевалку, походку. Впервые название *баба* «птица пеликан» зафиксировано в «Житии протопopa Аввакума, им самим написанном» (1673 г.): «В тех же горах орлы и соколы, и кречаты и курята инъдейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие,— многое множество,— птицы разные» (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975. Т. I. С. 61).

С пометой *областное* слово *баба* «пеликан» включено в новый двадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка» (М., 1991. Т. I. С. 282). По-видимому, это вполне оправданно, ибо его употребление встречается у классиков русской литературы даже в авторской речи: «Неуклюжие „бабы“ (пеликаны) проносятся с моря, изогнув шеи и выставив вперед толстые зобы, наполненные мелкой рыбешкой» (Короленко. Нирвана).

Фразеологизм *не в своей тарелке* «в фальшивом положении, чувствуя от этого неловкость» обязан своим происхождением ошибочному переводу французского выражения *n'être pas dans*

son assiette (букв. «быть не в своем положении»). Во французском языке у слова *assiette* «устойчивость, равновесие, настроение, состояние духа», есть омоним — *assiette* «тарелка». В результате смешения этих слов и появилось в русском языке это странное, «бессмысленное» выражение: «Любезнейший, ты не в своей тарелке» (Грибоедов. Горе от ума).

Нет единого мнения о происхождении греческого библейского выражения *легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное*. Одни полагают, что оно возникло благодаря путанице, смешению двух греческих слов: *kamilos* «канат, толстая веревка» и *kamelos* «верблюд» (долгое *ē* произносилось как *i*). Другие, буквально понимая слово «верблюд», под игольными ушками разумеют одни из ворот в стене Иерусалима, очень узкие и низкие.

Любопытна история происхождения слова *зенит*. В европейских языках оно является заимствованием арабского *semt*. По досадной ошибке кем-то из переписчиков или наборщиков буква *t* была воспринята как сочетание двух букв *n* и *i*. В таком оформлении слово распространилось во многих европейских языках, в том числе и в русском.

Аналогичная опечатка кочует из издания в издание в одном из стихотворений С. Есенина («О товарищах веселых...»): «Тихих вод паргуш квелый Курит люльку на излук». На ошибку обратил внимание Н. М. Шанский: вместо нужной буквы *k* в слове *карагуш* неизменно печатается буква *n*. Слово *карагуш* «небольшой орел, подорлик» Н. М. Шанский связывает с татарским *каракош* — букв. «черная птица» (Художественный текст под лингвистическим микроскопом. М., 1986. С. 58). Однако фонетический облик слова говорит о том, что название птицы в русский язык проникло из башкирского, в котором *карагуш* — «подорлик».

В слове может закрепиться ошибочное понимание, представление о предмете или явлении, характерное для определенной эпохи. В названии животного леопард отразилось давнее заблуждение людей, считавших, что *леопард* — дитя льва и пантеры: *леопард* ← старославянское *леопардъ* ← лат. *leopardus* ← *leo* «лев» + *pardus* «пантера».

Великая географическая путаница отразилась в названии крупной домашней птицы *индюк*: Христофор Колумб, открыв Америку, принял ее за Индию. В Европу птица была завезена из Америки, однако долгое время существовало мнение, что она привезена из Индии или Турции. Ср. лит. *kalakutas* «индюк», нем. *Kalkuttenhun* «индейка» (букв. «калькутская курица»), англ. *turkey* < *turkeyhen*, *turkey-cock*, *cock of India* «индюк» (букв. «турецкая курица», «турецкий петух», «петух из Индии»). Эта ошибка отражена и в названии коренного населения Америки — *индейцы*.

Недоразумением можно объяснить появление названия крупных человекообразных обезьян *орангутанг* (малайское *orang* «человек» + *utan* «лес», букв. «лесной человек»). Так туземцы называли жителей внутренних лесов острова Калимантан, а европейцы решили, что речь идет об обезьянах. Коренное население орангутанов называет *маиас*.

И, наконец, еще о двух словах весьма курьезного происхождения. В XVIII веке русским языком было заимствовано из английского слово *кенгуру*. Единой этимологии слово не имеет. Согласно одной из версий, когда пришельцы спросили аборигенов: «Что это за странное существо?», те им ответили: «Кэн гэ роо». Именно так на диалекте аборигенов якобы прозвучал их встречный вопрос о том, что нужно белым людям. «Этимологический словарь русского языка», выпускаемый МГУ (1982. Вып. 8. С. 120), отражает версию, согласно которой английское *kangaroo* «кенгуру» является искажением местных слов, выражающих удивление: «Я не понимаю вас».

В XIX веке в результате аналогичного непонимания иноязычной речи появилось в русском языке просторечное слово *шантрапа* «дрянной, ничтожный человек; проходимец». По мнению многих специалистов, оно является переоформлением французского выражения *ne chantera pas* (*не шантра́ ná*) «не будет петь», которое употреблялось французом-губернером при отборе крестьян в помещичий хор.

Называя предметы, явления окружающего мира, человек закрепляет в сознании их признаки, качества, все то, что имеет значение для общественной практики. Разобранные нами примеры следует считать исключением из этого правила, «патологией» в номинации.

Елец,
Липецкой области

Сирень

Н. С. АРАПОВА,
кандидат филологических наук

Всем памятна сцена из третьей главы «Евгения Онегина»:

...Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью...

В Словаре языка Пушкина находим статью с заглавным словом *сирень* и вышеприведенным примером. А. С. Пушкин в своих сочинениях только один раз употребил это слово. Оно зафиксировано в родительном падеже множественного числа (*кусты сирен*), и это заставляет усомниться в правомерности формы *сирень* в качестве заглавного слова.

На рубеже XVIII и XIX веков кустарник, о котором идет речь, именовался по-разному, и в ряду синонимов было слово *сирена*. Оно зафиксировано в «Начальных основаниях естественной истории» (1794 г.). Обычно оно употреблялось в форме множественного числа *сирены*. Название этого растения было новым для русского языка. Поэтому при употреблении этого слова в единственном числе наблюдаются колебания в грамматическом роде: наряду с существительным *сирена* «сирень» женского рода отмечается *сирен*, *серин* — мужского рода. Так, в «Физическом описании Таврической области» К. И. Габлица 1785 года, в перечислении крымских кустарников находим «серин или синие сирены». Колебания в грамматическом роде у заимствованных слов — распространенное явление: *клипс* и *клипса*, *рельс* и *рельса*. Мы говорим *один ботинок*, *узкий ботинок*, герою И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского говорили *маленькая ботинка*.

Слово *сирена* и его варианты *сирен*, *серин* «сирень» заимствованы из немецких диалектов, где это растение называется *Sirene* (в литературном языке — *Flieder*).

Для обозначения этого растения русский язык использовал также заимствования из других языков: *лила* — из французского

языка; *буз*, *бузок* — из украинского; *сиринга* — из ученой латыни. В некоторых источниках этот кустарник называется *испанская бузина*: «...испанская бузина или известная у нас сиринга» в журнале «Экономический магазин» (1784); «...лила или испанская сиринга» во «Всеобщем и полном домоводстве» (1795); «...сирен, сиринг, буз, бузок» в «Словаре ботаническом Вольного экономического общества» (1795); «Бузок или сиринга» встречается у Г. Ф. Соболевского в «Санктпетербургской флоре» (1801).

Как существительное женского рода третьего склонения слово *сирень* оформилось на рубеже XVIII—XIX веков. В «Подробном словаре садоводства» (1792) мы находим форму *серень*; в «Экономической ботанике» Г. А. Суккова (1804) — *сирень*.

Слово *сирень* быстро проникло в общенародный язык. В просторечии оно превратилось в *синель* в результате ложно-этимологического сближения со словом *синий*. Это название проникло даже в научную литературу и словари начала XIX века: «Сиринга, синель» в «Словаре истории естественной» Б. Солодова (1801) «Lilas. Сиринга, синель, сирин, или синие сирены» во Французско-русском словаре И. Татищева (1816). Эту *синель* не надо смешивать с названием бархатистой нити *синель*: последняя заимствована из франц. *chenille* «бархатистая нить, бархатистый шнур», буквально «гусеница».

Хотя в приведенных выше примерах присутствует определение *синий* (синие сирены, синяя сиринга) и даже изменение *сирень* > *синель* произошло под влиянием этого прилагательного, цветы сирени нельзя назвать синими. Они имеют свой специфический *сиреневый* цвет. Как обозначение цвета, прилагательное *сиреневый* появилось поздно. Оно не отмечается Словарем Академии наук 1847 года (там словосочетание *сиреневые цветы* имеет значение «цветы сирени»), но мы находим его в Толковом словаре В. И. Даля (1882): «...сиреневый цвет, лиловый».

Прилагательное *лиловый* появилось раньше. Его можно найти уже в «Экономическом магазине» (1782); оно зафиксировано Словарем Академии Российской (1814). В словарях *лиловый* определяется как светло-фиолетовый. Прилагательное *лиловый* — суффиксальное производное от существительного *лила* «сирень», заимствованного из французского языка во 2-й половине XVIII века (см. приведенный ранее пример), но позже утраченного.

Пока́яние и пока́яние

П. С. Усенко из Москвы спрашивает, почему различаются по ударению существительные *раска́яние* и *пока́яние* при сходстве ударения в глаголах *раска́яться-пока́яться*, чем объясняется перенос ударения в словах *пока́яние*, *ока́янный* и др.

В древнерусском языке было два глагола *пока́яться*, *пока́юсь* и *пока́яться*, *пока́юсь*. Они различались по значению. *Пока́яться*, *пока́юсь* — глагол многократного действия, глагол же *пока́яться*, *пока́юсь* не маркирован в этом отношении. От глагола *пока́яться*, *пока́юсь* были образованы причастие *пока́янный* и существительное *пока́яние*, от глагола *пока́яться*, *пока́юсь* — причастие *пока́янный* и существительное *пока́яние*. Оба ударения *пока́яние* и *пока́яние*, *пока́янный* и *пока́янный* зафиксированы в первом акцентуированном древнерусском памятнике — Чудовском Новом Завете митрополита Алексия (1353 г.). В употреблении преобладали образования со знанием многократности, то есть *пока́яние* и *пока́янный*. Они и сохранились до наших дней, хотя глагол *пока́яться*, *пока́юсь* и ушел из языка. Со временем в сознании носителей языка *пока́яние* и *пока́янный* соединились с глаголом *пока́яться*, *пока́юсь* и возникло представление о переносе ударения.

Аналогичным образом можно объяснить ударения *ока́янный*, *ока́яństwo*, *ока́яństwoвать*. Глагол же *раска́яться*, *раска́юся* — глагол немногочисленного действия. Глагола *раска́яться*, *раска́юся* не существовало, поэтому и не было слов *раска́яние* и *раска́янный*.

Этот частный вопрос древней акцентуации не нашел отражения в лингвистической литературе. Поделились своими соображениями по этому поводу специалисты в этой области В. А. Дыбо и В. Г. Чурганова.

С. Н. Борунова,
научный сотрудник
Института русского языка РАН